

Мария Корелли



АРДАФ

Мария Корелли

Ардаф

«Издательские решения»

Корелли М.

Ардаф / М. Корелли — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837924-6

Непризнанный и отчаявшийся поэт Теос Олвин отправляется в далёкий монастырь в Кавказских горах к духовному наставнику Гелиобазу, чтобы вернуть своё утраченное божественное вдохновение и снискать мировую славу, но неожиданно в ход событий вмешивается Высшая сила и переворачивает всю его Судьбу... Викторианский роман о запретной любви Человека и Ангела с элементами мистики и приключений, представленный в сокращении.

ISBN 978-5-44-837924-6

© Корелли М.
© Издательские решения

Содержание

Часть 1. Святой и скептик	6
Глава 1. Монастырь	7
Глава 2. Исповедь	12
Глава 3. Отшествие	20
Глава 4. «Ангелус Домини»	27
Глава 5. Мистическое свидание	31
Глава 6. «Нурельма» и оригинальная книга Ездры	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Ардаф

Мария Корелли

Переводчик А. В. Боронина

Дизайнер обложки А. И. Куинджи

© Мария Корелли, 2017

© А. В. Боронина, перевод, 2017

© А. И. Куинджи, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-7924-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1. Святой и скептик

«Когда способна смертная любовь
К бессмертию вести, всё вновь и вновь
В народах честолюбье пробуждая,
Тогда, сестра, лишь прихотью считаю
Стремленье к славе тех, кто издалече
Любви бессмертной движется навстречу
И сам бессмертен. Ты в недоуменье?
Но эти вещи истинны: в строенье
Нет атомов, гудящих в нашей дрёме,
Которые, ведя к тупой истоме,
Роятся в бреднях. Нетерпенье гложет
Мой дух, который, знаю, жить не сможет
Единственной мечтой – до появления
Надежды за теньями сновиденья»¹.

¹ Джон Китс «Эндимион» (пер. с англ. Е. Фельдмана).

Глава 1. Монастырь

Глубоко в самом сердце Кавказских гор собиралась дикая буря. Печальные тени нависали и уплотнялись над Дарьяльским перевалом – этим ужасающим ущельем, которое, словно тонкая ниточка, казалось, протянулось между покорёнными, скованными морозом вершинами гор и черными бездонными глубинами пропастей; облака, зловеще окаймлённые аляповатой зеленью и белизной, тяжело, но стремительно плыли над острыми пиками, где заснеженная вершина горы Казбек вздымалась из тумана холодной белизной на фоне тьмы грозных небес. Приближалась ночь, хотя на западе прямой багровый разрез, словно рана на груди небес, отмечал то место, где час назад закатилось солнце. Время от времени поднимавшийся ветерок постанывал, рыдая, меж высоких и прозрачных крон сосен, которые переплетёнными корнями крепко хватались за неуступчивую почву, прочно удерживая свои позиции на камнях; и, смешиваясь с его стенающим шелестом, долетал отдалённый хриплый рёв, будто от бушующих потоков, в то время как на дальнем расстоянии можно было услышать мощный, глухой грохот лавины, затаивший то там, то здесь во время её разрушительного движения вниз. Сквозь сплетающиеся испарения крутые, голые грани ближайшей горы бледно виднелись, их ледяные пики были, как поднятые вверх кинжалы, пронзавшие острым блеском плотность низко нависавшего тумана, из которого огромные капли влаги начинали скорее сочиться, чем капать. Постепенно усиливался ветер, и скоро с неожиданной яростью его порывы потрясли сосны беспокойной дрожью; красная щель в небе закрылась, и блеск зигзагообразной молнии пересек поперёк надвигающуюся тьму. Чудовищный громовой раскат последовал почти незамедлительно, его глубокий грохот резонировал хмурыми отголосками эха от всех стен ущелья, а затем бурлящий, шипящий ливень, неудержимая буря прорвалась вперёд, живая и яростная. Вперёд, вперёд! Расщепляя огромные сучья и раскидывая их, как солому, вздувая реки буйными потоками, что металась туда-сюда, неся с собой массы камней, и глыб, и тонны рыхлого снега; вперёд, вперёд! С безжалостной силой и разрушительной поспешностью катилась буря, громыхала и вопила на своём пути через Дарьяльское ущелье. Когда ночь потемнела и шум борющихся стихий стал ещё более настойчивым и яростным, неожиданный мелодичный звук мягко прорезал дрожащий воздух – медленный, размеренный звон колокола. Туда и сюда, туда и сюда – серебряный перезвон раскачивался с ненавязчивой отчётливостью; это был вечерний звон в монастыре Ларса, стоящем высоко среди скал, венчающих ущелье. Там ветер ревел и бесновался громче всего; он кружился и вертелся вокруг огромного, построенного в виде замка здания, колотя в ворота и двигая их тяжёлые стальные петли с самым болезненным стоном; он атаковал гремящие гардины в узких окнах и бушевал, и завывал на каждом углу и в каждой щели; а в это время змеиные изгибы молний угрожающе играли над высоким железным крестом, что венчал собой крышу, словно вознамерившись низвергнуть его и расколоть непоколебимые стены, которые он хранил. Всё вокруг было война и смятение, но внутри пребывало спокойствие и мир, усиленные ещё и серьёзным бормотанием органной музыки; человеческие голоса смешивались в мягком унисоне, скандируя «Магнификат», и возвышенная размеренная гармония великого древнего гимна торжественно перекрывала шум бури. Монахи, населявшие это горное орлиное гнездо, когда-то бывшее крепостью, а теперь – религиозным пристанищем, собрались вместе в их маленькой часовне – нечто вроде грота, грубо вытесанного из природного камня. Числом пятнадцать, они стояли рядами по трое; их белые шерстяные одежды касались земли, белые капюшоны откинута назад, и мрачные лица и горящие взгляды набожно повернуты к алтарю, на котором сиял в странном уединённом великолепии горящий Крест. С первого же взгляда легко было заметить, что они были особенной общиной, посвящённой некой особенной форме поклонения, поскольку их одежды совершенно отличались внешним видом и деталями от всех прочих нарядов, используемых в различных религиозных братствах

греческой, римской и американской конфессий; и одна особенность их внешнего вида служила явным знаком их отличия от всех известных монашеских орденов: это было отсутствие уродливого пострига. Все они были красивыми мужчинами, явно в расцвете сил, и они выводили «Магнификат» не вяло и монотонно, а мелодично и сердечно, что возбуждало слабое удивление и презрение у измученного духом невольного слушателя, стоявшего среди них. То был чужак, который прибыл в монастырь тем же вечером и который вынужден был остаться здесь на ночь, – человек выдающегося и несколько надменного вида, с мрачным, скорбным поэтическим лицом, выделявшимся главным образом смешанным выражением мечтательной пылкости и холодного презрения, – выражением, подобное которому неизвестный скульптор эпохи Адриана поймал и увековечил в мраморе у своего коронованного плющом Бахуса-Антиноя, чья наполовину слащавая, наполовину жестокая улыбка выражала вечные сомнения во всём и во всех. Он был одет в готовый грубый костюм английского путешественника, и его атлетическая фигура в просто пошитой современной одежде выглядела комично на фоне этого мистического грота, который, с его скалистыми стенами и горящим символом спасения, казалось, подходил только для живописных, подобных пророкам фигур наряженных в белое братьев, которых он теперь и разглядывал, стоя позади их рядов с оттенком чего-то вроде насмешки в глубине гордого усталого взгляда.

«Что же это за парни? – размышлял он. – Глупцы или мошенники? Они непременно должны быть тем или другим, иначе они не стали бы петь такие дифирамбы божееству, существованию которого, быть может, и нет никаких доказательств. Это или вопиющее невежество, или лицемерие, или то и другое вместе. Я могу извинить невежество, но только не лицемерие; поскольку, какой бы ужасной ни оказалась Истина, она всё же останется Истиной; её убийственная стрела уничтожает обманчивую красоту Вселенной, но что же тогда? Не лучше ли в таком случае, чтобы Вселенная продолжала казаться прекрасной, только посредством обмана?»

Его прямые брови озадаченно сошлись в одну хмурую линию, когда он задавался этим вопросом, и он беспокойно пошевелился. Он начинал уже терять терпение; пение монахов становилось скучным для его ушей; яркий крест на алтаре слепил его зрение. Кроме того, он недолюбливал все формы религиозных служб, хотя, будучи приверженцем классических знаний, вероятно, он посетил бы праздник чествования Аполлона или Дианы с живейшим интересом. Но само название Христианства представлялось ему несносным. Подобно Шелли, он считал эту веру пошлым и варварским суеверием. Подобно Шелли, он вопрошал: «Если Бог говорил к нему, то почему мир не убедился?» Он уже начал мечтать о том, чтобы его нога никогда не переступала порога этой обители, которую он считал ложным святилищем, хотя по сути у него имелась особенная цель посещения этого места – цель, настолько расхोлившаяся с исповедуемыми им самим догматами в нынешней его жизни и характере, что даже мысль о ней подсознательно раздражала его, даже когда он решился достигнуть её. Пока что он только познакомился с парой монахов – учтивыми, добродушными личностями, которые встретили его по прибытии с обычным гостеприимством, которое составляло правило монастыря и оказывалось всем запоздалым путникам, переходившим через опасное Дарьяльское ущелье. Они не задавали ему никаких вопросов ни о его имени, ни о национальности, а видели в нём просто путника, застигнутого бурей и нуждавшегося в укрытии, и приняли его соответственным образом. Они проводили его в трапезную, где весело горели дрова, и там ему подали прекрасный ужин, приправленный равно великолепным вином. Он, однако, едва только завязал разговор с ними, когда зазвонил колокол, призывая на вечернюю службу, и, подчиняясь его призыву, они поспешили прочь, оставив его наслаждаться едой в одиночестве. Покончив с ней, он немного посидел, сонно прислушиваясь к торжественным звукам органа, которые проникали во все уголки здания, и затем, движимый смутным любопытством поглядеть, сколько людей уживалось в этом одиноком убежище, подвешенном, словно орлиное гнездо, посреди морозных вершин Кавказа, он отправился на звук музыки через множество длинных коридо-

ров и узких извилистых проходов в пещеристый грот, где и стоял теперь, ощущая бесконечную скуку и рассеянное недовольство. Его главной целью посещения часовни было увидеть всех монахов и в особенности их лица, но это оказалось невозможным, поскольку с того места, которое он вынужден был занять позади них, видны были лишь их спины.

«И кто знает, – угрюмо размышлял он, – сколько ещё они будут выводить их ужасные латинские вирши? Лжесвященство и обман! Нигде от них не скрыться, даже в диких горах Кавказа! Интересно, здесь ли тот, кого я ищу, или я, в конце концов, потерял его след? О нём рассказывают столько противоречивых историй, что не знаешь, чему и верить. Кажется невероятным, чтобы он оказался монахом; настолько нелепое завершение интеллектуального пути. Поскольку, какой бы ни была форма конфессии, исповедуемая этой братией, но абсурдность всей религиозной системы в целом остаётся неизменной. Дни религии прошли; само религиозное чувство – это простой инстинкт трусости, пережиток варварства, который постепенно искореняется из нашей природы прогрессом цивилизации. В наше время миру известно, что творение – простая насмешка; и все мы уже начинаем понимать её пошлость! И если нам приходится допускать, что существует некий верховный всевышний Шутник, который удачно скрывается в неведении и продолжает свои глупые и бесцельные шутки ради собственного развлечения и наших страданий, то нам не нужно в этом отношении восхищаться его остроумием или льстить его изобретательности! Поскольку жизнь есть не что иное, как томление и страдание; а мы разве собаки, чтобы лизать руку, которая нас бьёт?»

В этот момент пение вдруг прекратилось. Орган продолжал играть, словно размышляя под собственную негромкую музыку, сквозь которую мягкие более высокие ноты, словно штрихи света на фоне тёмного пейзажа, подрагивали рябью; один монах отделился от всей группы и, медленно поднявшись в алтарь, повернулся лицом к своей братии. Огненный крест ярко сиял у него за спиной; его лучи, казалось, собирались сияющим нимбом вокруг его высокой, мистической фигуры; его лик, полностью освещённый и чётко видимый, был одним из тех, что запоминаются навечно своей поразительной силой, кротостью и достоинством, выраженными в каждой черте. Последний зубоскал, что когда-либо насмеялся над доброй верой или честными добродетелями моментально затрепетал бы и умолк в присутствии такого человека, как этот, – человека, на ком благодать совершенной жизни покоилась, словно королевская мантия, наделяя даже его внешний вид духовным авторитетом и величием. При одном взгляде на него безразличие чужака быстро сменилось страстным интересом: подавшись вперёд, он пристально разглядывал его со смешанным удивлением и невольным восхищением; монах тем временем простёр руки, словно в благословении, и громко заговорил, и его латынь отражалась эхом от каменных стен храма размеренным темпом поэтических рифм. В переводе они глаголют следующее:

«Слава Господу, Всевышнему, Верховному и Вечному!»

И единым стройным ропотом братия откликнулась:

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу, Повелителю духов и Господину ангелов!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу, который в Своей любви никогда не устаёт любить!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу во имя Христа, нашего Искупителя!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу за все радости прошлого, настоящего и будущего!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу за силу воли и мудрость!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу за мимолётность бытия, за радость смерти и за обещанное бессмертие в будущем!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

Затем настала пауза, во время которой гром снаружи добавил ещё одну буйную Славу и от себя ко всем уже высказанным; органная музыка замерла в тишине, и монах теперь повернулся лицом к алтарю, благоговейно опустившись на колени. Все присутствующие последовали его примеру, за исключением чужака, кто, будто с нарочным вызовом, решительно вытянулся во весь свой рост и, сложив руки, смотрел на сцену перед собой с совершенно безразличным видом; он ждал, что последует какая-нибудь долгая молитва, но ничего подобного. Стояла полнейшая тишина, не нарушаемая ничем, кроме дробы дождевых капель в высокое эркерное окно и дикого свиста порывов ветра. И, пока он смотрел, огненный крест начал тускнеть и бледнеть, постепенно его сверкающий блеск уменьшался до тех пор, пока наконец не исчез совсем, не оставив ни следа от своего прошлого сияния, кроме маленького яркого огонька, что постепенно принял форму семиконечной звезды, которая мерцала сквозь мрак, как подвешенный рубин. Часовня погрузилась в почти полный мрак: он едва различал даже белые фигуры стоявших на коленях монахов; навязчивое ощущение сверхъестественного, казалось, пронизывало эту глубокую тишину и плотную темноту, и, несмотря на его обычное презрение ко всем религиозным обрядам, всё это действо оказало некое неведомое и странное влияние на его воображение. Внезапная странная фантазия завладела им, будто здесь имелось ещё чьё-то присутствие, помимо его и братии, но кем были эти «кто-то ещё», он не смог бы определить. Вместе с тем это было жуткое, неприятное ощущение и одновременно очень сильное, и он испустил глубокий выдох облегчения, когда снова услышал мягкую мелодию органа и увидел, как дубовые двери грота распахнулись настежь, чтобы впустить внутрь потоки весёлого света из наружного коридора. Вирши закончились; монахи поднялись и зашагали прочь парами, но не со склонёнными головами и опущенными глазами, будто под влиянием униженного смирения, а с раскованностью и статностью, присущей королям, возвращавшимся с великой победой. Отступив немного назад, в его уединённый угол, он наблюдал, как они выходили, и вынужден был признать, что редко, или даже никогда прежде, не доводилось ему видеть более красивых представителей великолепной, здоровой и энергичной мужественности в её лучшем и ярчайшем виде. В качестве благородных представителей человеческой расы на них было приятно посмотреть; они могли бы быть воинами, принцами, императорами, как он думал, – кем угодно, но только не монахами. И всё-таки они были монахами и последователями христианской веры, которую он столь яростно осуждал, поскольку каждый из них носил на своей груди массивное золотое распятие, висевшее на цепочке и украшенное драгоценной звездой.

«Крест и звезда! – размышлял он, заметив это необычайное бриллиантовое украшение. – Символ братства, полагаю, означающий... что? Спасение и бессмертие? Увы, они – несчастные строители замков из песка, если возлагают какие-либо надежды или доверие на эти два пустых, ничего не значащих слова! Интересно, могут ли, верят ли они искренне в Бога? Или просто разыгрывают обычную, изношенную комедию напускной веры?»

Он оглядывал их несколько задумчиво, когда их белые нарядные фигуры проходили мимо, – десятеро уже покинули часовню. Ещё двое прошли, затем ещё двое, и последним появился в одиночестве некто, шедший неспешно, с мечтательным, задумчивым видом, словно глубоко погрузившись в свои мысли. Свет устремился прямо на него через открытую дверь, когда он приблизился: это был монах, читавший Семь Славословий. Монах заметил чужака не раньше, чем тот неожиданно выступил вперёд и коснулся его руки.

– Пардон! – торопливо сказал он по-английски. – Думаю, я не ошибусь в том, что ваше имя Гелиобаз, или было таковым ранее?

Монах склонил свою прекрасную голову в лёгком, но изящном приветствии и улыбнулся.

– Я его не менял, – отвечал он, – я всё ещё Гелиобаз. – И пронизательный твёрдый взгляд его голубых глаз остановился с наполовину вопросительным, наполовину сострадательным выражением на мрачном, уставшем, озадаченном лице его собеседника, который, избегая прямого взгляда, продолжил:

– Мне нужно переговорить с вами наедине. Возможно ли это сделать незамедлительно, прямо этим вечером?

– Конечно! – кивнул монах, не показывая никакого удивления от этой просьбы. – Следуйте за мной в библиотеку, там мы будем одни.

Он сразу же стал показывать дорогу, выйдя из часовни, а затем через вымощенный камнем вестибюль, где им повстречались два брата, которые впервые встретили и приняли неизвестного гостя и которые, не найдя его в трапезной, где оставили его, теперь блуждали в поисках. Увидев, в чьей компании он находился, однако, они отступили с глубоким и благоговейным почтением к личности по имени Гелиобаз; он, молча отметив это, прошёл мимо в близком сопровождении незнакомца, пока не достиг просторной, прекрасно освещённой комнаты, где стены были полностью заставлены рядами книг. Здесь, войдя и прикрыв дверь, он повернулся и оказался лицом к лицу с гостем: его высокая, внушительная фигура в скользящих белых одеждах вызвала в воображении картину какого-нибудь святого или евангелиста; и с серьёзной, но добродушной любезностью он сказал:

– А теперь, друг мой, я в вашем распоряжении! Каким же образом Гелиобаз, мёртвый для всего мира, может послужить человеку, для которого мир пока что определённо является всем?

Глава 2. Исповедь

Вопрос его не скоро встретил ответ. Незнакомец молча стоял, две-три минуты пристально глядя на него с особой задумчивостью и рассеянностью, тяжёлая двойная кайма его длинных тёмных ресниц придавала почти что мрачный пафос его гордому и серьёзному взгляду. Вскоре, однако, это задумчивое выражение сменилось мрачным презрением.

– Мир! – медленно и с горечью проговорил он. – Вы думаете, *мне есть дело до мира?* В таком случае вы неверно меня оценили с самого начала нашего разговора и ваш некогда известный дар провидца ничего не стоит! Для меня мир – это кладбище мертвецов, поедаемых червями тварей и их подложного Создателя, которому вы были так признательны в своих молитвах сегодня, – этого дьячка, который зарывает в землю, и вурдалака, который пожирает собственных несчастных созданий! Я и сам – один из мучимых и умирающих, и я искал вас, чтобы вы просто смогли обмануть меня кратким забвением погибели и раздражить меня миражом жизни, которого нет и быть не может! Как вы можете мне послужить? Дайте мне несколько часов передышки от несчастья! Вот всё, о чём я прошу!

Во время этой речи лицо его побледнело и осунулось, будто он страдал от какой-то болезненной внутренней агонии. Монах Гелиобаз выслушал его внимательно и терпеливо, но ничего не сказал; гость поэтому, так и не дождавшись ответа, продолжил уже более спокойным тоном:

– Осмелюсь сказать, что мои слова покажутся вам странными, но так не должно быть, если, как говорят, вы уже прошли все разнообразные стадии чистого интеллектуального отчаяния, которое в наш век чрезмерной сверхразвитости разрушает человека, который знает слишком много и задумывается слишком глубоко. Но, прежде чем продолжить, мне стоит представиться. Моё имя Олвин...

– Теос Олвин, английский писатель, я полагаю? – вопросительным тоном заметил монах.

– Именно! – воскликнул он с крайним удивлением. – Как вы узнали?

– Ваша слава, – любезно заметил Гелиобаз, взмахнув рукой и с таинственной улыбкой, которая могла означать очень многое, а могла и ничего.

Олвин слегка покраснел.

– Вы ошибаетесь, – сказал он безразлично, – нет у меня славы. Немного прославленных людей в моей стране, и среди них самые почитаемые – это жокеи и разведённые женщины. Я просто существую на задворках искусства или профессии литератора; я – вечный неудачник и самый нежелательный тип писателей – сочинитель стихов; я не претендую, не сейчас, во всяком случае, на звание поэта. Побывав недавно в Париже, мне посчастливилось услышать о вас...

Монах слегка поклонился, и в его ярких глазах отразился проблеск насмешки.

– Вы завоевали там особенную известность и славу, я полагаю, прежде чем перешли в монашескую жизнь? – продолжал Олвин, с любопытством глядя на него.

– Правда? – и Гелиобаз, казалось, выглядел повеселевшим и заинтересованным. – На самом деле я об этом не знал, уверяю вас! Вероятно, мои действия и поступки могли случайно снабдить парижан иной темой для пересудов, помимо погоды, и я точно знаю, что обзавёлся несколькими друзьями и поразительным количеством врагов, если вы это подразумеваете под известностью и славой!

Олвин улыбнулся – улыбка его всегда была неохотной и выражала скорее грусть, чем радость, и всё же она придавала его лицу необычайную мягкость и прелесть, прямо как солнечный луч, падая на тёмную картину, окрашивает оттенки цветов мимолётным теплом лицемерной жизни.

– Любая слава подразумевает это, я думаю, – сказал он, – иначе это была бы бездарность, за которой человек прячется в безопасности; у таковой – десятки друзей и мало врагов. Посред-

ственность поразительно процветает в наши дни: никто её не презирает, потому что каждый чувствует сегодня, как легко он сам может докатиться до неё. Исключительный талант – агрессивен, истинный гений – оскорбителен; люди обижаются, что предмет их восхищения находится всецело вне их досягаемости. Они стали, как медведи, карабкающиеся на скользкий шест; они видят великое имя над своей головой – соблазнительный сладкий кусок, на который они бы охотно набросились и пожрали, а когда их грубые усилия пропадают впустую, то они жмутся друг к другу внизу, на земле, глядя вверх унылыми пристальными взглядами, и бесильно огрызаются! Но вы, – и тут он поглядел с сомнением, но вопросительно в открытое, спокойное лицо своего собеседника: – вы, если слухи не врут, могли бы приручить *своих* медведей и превратить их в собак, покорных и покладистых! Ваши потрясающие успехи в качестве гипнотизёра...

– Извините меня! – спокойно прервал его Гелиобаз. – Я никогда не занимался гипнозом.

– Ну, тогда в качестве спиритуалиста; хотя я не могу поверить в существование вещей, подобных спиритуализму.

– Я тоже, – ответил Гелиобаз с совершенным добродушием, – согласно общепринятому мнению. Прошу вас, продолжайте, м-р Олвин!

Олвин взглянул на него, несколько озадаченный тем, как же ему продолжать. Непонятное чувство раздражения нарастало у него внутри из-за этого монаха с крупной головой и горящими глазами – глазами, которые будто обнажали его самые сокровенные мысли, подобно молнии, что срывает кору с дерева.

– Я говорил, – продолжил он после паузы, во время которой явно обдумывал и подготавливал слова, – что вы были главным образом известны в Париже, как обладатель некоей таинственной внутренней силы, – называйте её магнетической, гипнотической или духовной, как вам угодно, – которая, хоть и совершенно необъяснима, но была очевидной для всех, кто оказывался под вашим влиянием. Кроме того, посредством этой силы вы могли действовать научным образом и работать с активным началом интеллекта человека в таких масштабах, что вам удавалось каким-то чудесным способом распутывать узлы непосильных затруднений и недоумений в перегруженном мозге и восстанавливать его первоначальную живость и тонус. Это правда? Если так, то используйте свою силу на мне, потому как нечто, и я не знаю что, в последнее время заморозило когда-то бьющий фонтан моих мыслей, и я утратил всю свою работоспособность. Когда человек не может больше трудиться, то лучше бы ему было умереть; жаль только, что я не могу умереть, если только не убью себя сам, что, вполне вероятно, я вскоре и сделаю. Но пока, – он на секунду замешкался, а затем продолжил: – я испытываю сильное желание окунуться в заблуждение – я использую это слово намеренно и повторю его – *в заблуждение* воображаемого счастья, хоть мне и известно, что, коль скоро я агностик и искатель истины – истины абсолютной, истины реальной, – то подобная страсть с моей стороны представляется нелогичной и безрассудной даже и мне самому. И всё же я признаюсь, что испытываю её; и в этом отношении, я знаю, проявляется слабость моей природы. Быть может, я просто устал, – и он озадаченно провёл рукой по лбу, – или сбит с толку бесконечными, неправыми страданиями всего живого. Вероятно, я схожу с ума! Кто знает! Но, что бы там со мной ни происходило, вы, – если слухи не врут, – обладаете магическим даром освобождать разум от всех его проблем и переносить в сияющий Элизиум сладостных иллюзий и неземного экстаза. Сделайте это со мною, как делали прежде и с другими, и, что бы вы ни потребовали взамен в виде золота или благодарности, – я дам вам это.

Он замолчал; ветер яростно завывал снаружи, швыряя порывистые брызги дождя на комнатное окно, высокое и арковидное, шумно постукивавшее от каждого удара, наносимого ему бурей. Гелиобаз бросил на него быстрый, испытующий взгляд, наполовину жалостливый, наполовину презрительный.

– Мне неведомы средства для временного облегчения угрызений совести, – сказал он кратко.

Олвин мрачно вспыхнул.

– Совести!.. – начал было он весьма обиженным тоном.

– Да, совести! – уверенно повторил Гелиобаз. – Есть такая штука. Вы станете утверждать, что начисто её лишены?

Олвин не удостоил его ответом – ироничный тон вопроса его разозлил.

– У вас сложилось весьма несправедливое мнение обо мне, м-р Олвин, – продолжал Гелиобаз, – мнение, которое не делает чести ни вашей обходительности, ни вашему интеллекту, простите меня за эти слова. Вы просите меня поглумиться над вами и ввести вас «в заблуждение», будто это входило когда-либо в мои привычки или же мне доставляло удовольствие дурачить страдающих человеческих созданий! Вы приходите ко мне, будто я какой-то гипнотизёр или магнетизёр, которого вы можете нанять за несколько гиней в любом цивилизованном городе Европы, – нет, я не сомневаюсь, что вы и меня считаете подобным типом, чьи просветления разума и устремлённость к небесам проявляются в верчении стола и прочем мебельном вращении. Я, тем не менее, безнадёжный профан в этой области знаний. Из меня получился бы самый скверный фокусник! Кроме того, что бы вы там ни слыхали обо мне в Париже, вы должны запомнить, что я уже не в Париже. Я монах, как вы видите, посвятивший себя своему призванию; я полностью оторван от мира, и мои обязанности и дела ныне совершенно отличны от тех, что занимали меня в прошлом. К тому же я оказывал посильную помощь тем, кто честно нуждался в ней и искал её без всяких предрассудков или личного недоверия; но теперь моя работа в миру завершена, и я более не практикую собственную науку, каковой она и является, на других, за исключением очень редких и незаурядных случаев.

Олвин слушал, и черты его лица приняли выражение ледяной надменности.

– Полагаю, из этого мне следует заключить, что вы мне ничем не поможете? – сухо проговорил он.

– А что я могу сделать? – возразил ему Гелиобаз с лёгкой улыбкой. – Всё, чего вы хотите, по вашим же словам, – это краткое забвение своих проблем. Что ж, этого легко добиться при помощи упомянутых наркотиков, если, конечно, вы решите воспользоваться ими, невзирая на их разрушительное действие на ваш организм. Вы можете одурманить свой мозг и тем самым накачать его вялыми подобиями идей; конечно, это не будут сами идеи и даже не смутные и неопределённые их образы, но всё же они могут оказаться весьма приятными, чтобы увлечь вас и на время вытеснить горькие воспоминания. Что до меня, то мои скромные познания едва ли вам помогут, поскольку не могу пообещать вам ни самозабвения, ни приятных зрительных видений. У меня есть определённая внутренняя сила – это правда, – духовная сила, которая, когда проявляется ярко, подавляет и подчиняет себе материю, и, используя её, я мог бы, если бы счёл это уместным, освободить вашу душу – тот внутренний разумный Дух, который фактически и есть вы, – из её глиняной обители и дать ей временный отрезок свободы. Но что именно вы познаете за время этого раскрепощения, будет это радость или печаль, – я совершенно не в силах предсказать.

Олвин пристально глядел на него.

– Вы верите в существование души? – спросил он.

– Определённо!

– Как в отдельную личность, которая продолжает жить, когда тело гибнет?

– Несомненно.

– И вы объявляете себя способным освободить её на время от смертной оболочки... .

– Не объявляю, – спокойно перебил его Гелиобаз, – а я действительно способен на это.

– Однако при успешном ходе эксперимента ваша сила отступает? Вы не можете предсказать, куда направится освобождённый дух: к адским страданиям или же к райским удовольствиям? Вы это имеете в виду?

Гелиобаз серьёзно кивнул.

Олвин разразился жестоким смехом:

– Тогда вперёд! – воскликнул он бесшабашно. – Начинайте уже ваше колдовство! Отправьте меня туда, неважно куда, чтобы я ненадолго сбежал из этого мирского вертепа, из этой темницы с единственным крошечным окошком, через которое с предсмертными хрипами мы вглядываемся остекленевшими глазами в пустое, бессмысленное величие Вселенной! Докажите мне, что душа существует, бог мой! Докажите! И если моя отыщет прямой путь к движущей силе всего вращающегося Творения, тогда ей следует застрять в этих проклятых колёсах и застопорить их, чтобы больше они не могли перемалывать мучений Жизни!

Он вскинул руки в диком порыве: лицо его выражало мрачную угрозу и вызов, но всё же было прекрасным той злобной прелестью мятежного и падшего ангела. Его дыхание часто вырывалось из груди, он словно бросал вызов некому невидимому противнику. Гелиобаз тем временем наблюдал за ним, скорее как мог бы наблюдать врач за течением какой-то новой болезни у своего пациента, затем он сказал намеренно холодным и спокойным тоном:

– Дерзкая идея! Исключительно богохульная, заносчивая и, к счастью для всех нас, невыполнимая! Позвольте заметить, что вы перевозбуждены, м-р Олвин; вы говорите, как сумасшедший, а не как разумный мужчина. Ну же, – и он улыбнулся той улыбкой, что была одновременно серьёзной и милой, – вы измотаны силой собственного отчаяния, отдохните несколько минут и успокойтесь.

Его голос, хоть и мягкий, был исключительно властным, и Олвин, встретив открытый взгляд его спокойных глаз, почувствовал необходимость подчиниться озвученному приказу. Поэтому он апатично упал в мягкое кресло рядом со столом, усталым движением отбросив назад короткие крупные локоны со лба; он был очень бледен, чувство стыда и неловкости охватило его, и он вздохнул быстрым вздохом исчерпанной страсти. Гелиобаз уселся напротив и серьёзно глядел на него, он с сочувственным вниманием изучал черты лица, выражавшие уныние и усталость, которые искажали красоту противоположных качеств: честности, поэтичности и благородства. Он повидал множество подобных людей. Людей в расцвете молодости, которые начинали свою жизнь, исполненные возвышенной веры, надежды и высоких устремлений, но чьи прекрасные идеалы позже были разбиты в ступе современного атеизма, погибнув навечно, в то время как сами они, подобно золотым орлам, внезапно и жестоко подстреленным в воздушном полёте, безнадежно пали с подломленными крыльями посреди пыльной свалки мира, чтобы никогда уже не подняться и не воспарить к солнцу снова. От этих размышлений голос его тронуло очевидное сострадание, когда после паузы он мягко заговорил:

– Бедный мальчик! Несчастный, сбитый с толку, измождённый разум, который готов судить Вечность по меркам лишь смертного! Вы были гораздо более честным поэтом, Теос Олвин, когда, будучи глупцом по мирским понятиям, но вдохновлённым небесами парнем, вы верили в Бога, и поэтому в божественной радости видели во всём хорошее!

Олвин поднял глаза, губы его дрожали.

– Поэт, поэт! – пробормотал он. – Зачем дразнить меня этим званием? – Он выпрямился в кресле: – Я расскажу вам всё, – сказал он вдруг, – вам следует узнать, отчего я превратился в такую вот бесполезную развалину; хотя, быть может, я только напрасно утомлю вас.

– Нисколько, – любезно отвечал Гелиобаз, – рассказывайте свободно, но помните, что я не принуждаю вас к откровенности.

– Напротив, думаю, что принуждаете! – И снова эта слабая полупечальная улыбка промелькнула на мгновение в глубине его тёмных глаз: – Хотя вы, быть может, этого и не осознаёте. Так или иначе, я чувствую необходимость излить вам свою душу: я слишком долго мол-

чал! Вы знаете, как это бывает в мире: человек вынужден всегда молчать, всегда закрываться от чужого горя и вымучивать улыбку за компанию со всей прочей страдающей, насильно улыбающейся толпой. Мы никогда не можем быть самими собой – подлинными самими собой, ведь если бы так, то воздух задрожал бы от наших непрестанных причитаний! Чудовищно даже подумать обо всех сдерживаемых страданиях человечества, обо всех невообразимо отвратительных муках, что вечно пребывают немymi и тайными! Когда я был молод (а как давно это мне видится! Да, хотя мой истинный возраст всего лишь тридцать, я чувствую на своих плечах тяжесть веков!), когда я был молод, мечтой всей моей жизни была поэзия! Вероятно, я унаследовал роковую любовь к ней от своей матери: она была гречанкой, и внутри неё жила тонкая музыка, которую ничто не могло заглушить, даже холодность моего отца-англичанина. Она назвала меня Теос², едва ли предполагая, какой жестокой насмешкой это обернётся! Хорошо, как мне кажется, что она умерла рано.

– Хорошо для неё, но, наверное, не так уж хорошо для вас, – сказал Гелиобаз, глядя добродушным пронизательным взором.

Олвин вздохнул.

– Нет, пожалуй, для нас обоих, поскольку я бы бередил её сдержанную нежность и она бы, безусловно, во мне разочаровалась. Мой отец был добросовестным, методичным предпринимателем, который проводил все дни напролёт почти до самой смерти за накоплением денег, хотя они никогда и не приносили ему радости, насколько я мог видеть, и когда с его смертью я стал единоличным обладателем его с трудом заработанного состояния, то ощутил скорее печаль, чем удовлетворение. Я желал, чтобы он растратил всё своё золото на себя, а меня оставил бедняком, ведь мне представлялось, что у меня не было нужды ни в чём, кроме той малости, что я зарабатывал своим пером; я был бы рад жить отшельником и обедать коркой хлеба во имя той божественной музыки, которую я боготворил. Судьба, однако, устроила всё наоборот, и, хотя я едва думал об унаследованном богатстве, оно, наконец, принесло мне одну радость: совершенную независимость. Я мог свободно следовать собственному призванию и на краткий удивительный миг я даже считал себя счастливым... счастливым, каковым Китс, вероятно, был, когда фрагменты «Гипериона» ворвались в его брентную жизнь, как прорывается гром из летней тучи. Я был как монарх, размахивающий скипетром, который повелевает небом и землёй; моё царство – царство золотого эфира – населяли сияющие формы Изменчивости, – увы! – врата его закрыты теперь для меня, и мне не суждено вновь войти в них никогда!

– Никогда – это долгий срок, друг мой! – любезно заметил Гелиобаз. – Вы слишком подавлены и, вероятно, слишком скромны в оценке своих способностей.

– Способностей! – устало рассмеялся он. – Нет у меня их – я слаб и неумел, как необученный ребёнок, музыка моего сердца не звучит! Но я бы отдал всё ради того, чтобы возвратить былое восхищение, когда пейзаж заката солнца над холмами или преобразование моря в лунном свете наполняли меня глубоким и неопишуемым экстазом; когда мысль о любви, словно отклик струны магической арфы, ускоряла мой пульс безумным восторгом; густые, как летняя листва, фантазии заполняли мой ум; Земля была круглым очарованием на груди улыбочивого Божества; мужчины были богами, а женщины – ангелами; мир представлялся ничем иным, как широким свитком для подписей поэтов, и моя, клянусь вам, была там чётко выведена!

Он остановился, будто устыдившись собственной горячности, и посмотрел на Гелиобазу, кто, подавшись немного вперёд на кресле, глядел на него с дружелюбным, внимательным интересом; затем он продолжил уже более спокойным тоном:

– Достаточно! Думаю, тогда во мне было что-то – что-то, бывшее новым и диким и, хоть это и покажется вам самохвальством, исполненное чарующего блеска под названием «вдохновение»; но, чем бы это ни было, – зовите это гением, насмешкой, как вам будет угодно, – вскоре

² Theos – в переводе с греческого значит «Бог».

оно погибло во мне. Мир обожает убивать своих певчих птиц и пожирать их на завтрак; одно маленькое нажатие пальцев на певучее горлышко – и оно замолкает навеки. Это узнал я, когда наконец со смешанной гордостью, надеждой и трепетом опубликовал свои стихи, не требуя за них иной награды, кроме беспристрастного суждения и справедливости. Они не снискали ни того, ни другого, их лишь беспечно перебросили из рук в руки несколько критиков, недолго поглумившись, и в итоге швырнули мне обратно, как враньё и сплошную ложь! Тонкие кружева паутины фантазии, изящные переплетения лабиринтов мысли были разодраны на куски с меньшим сожалением, чем чувствуют испорченные дети, ломая ради жестокой забавы бархатистое чудо крыла мотылька, или лепестки сияющей розы, или изумрудные крылья стрекозы. Я был глупцом, как говорили обо мне с вялой усмешкой и пресными шуточками, рассказывая о скрытых тайнах шёпота ветра и плеска волн; подобные звуки есть не что иное, как обычные причины и следствия законов природы. Звёзды – обычные скопления нагретых паром масс, уплотнившихся за века до состояния метеоров, а из метеоров – до миров, и всё это продолжает вертеться на определённых орбитах, никто не знает по какой причине, но это никого и не волнует! А любовь – ключевой момент всей темы, которому я ошибочно приписывал гармонию всей жизни, – любовь была лишь прекрасным словом, употребляемым для вежливого определения низменного, но очень распространённого чувства грубого животного влечения; короче говоря, поэзия, подобная моей, оказывалась одновременно абсурдной и устаревшей при столкновении с фактами повседневного существования – фактами, которые попросту учили нас, что главная задача человека здесь, внизу, это просто жить, размножаться и умирать – жизнь шелкопряда или гусеницы на чуть более высоком уровне развития; а за гранью всего этого – ничто!

– Ничто? – проговорил Гелиобаз тоном, предполагающим вопрос. – В самом деле ничто?

– Ничто! – повторил Олвин с видом смиренного отчаяния. – Ведь я узнал, что, согласно выводам, полученным самыми прогрессивными мыслителями современности, нет Бога, нет души, нет загробной жизни – высочайшей награды самых далёких небес; честолюбивые умы обречены закончить небытием, крахом и уничтожением. Среди прочих безрадостных, жестоких истин, что обрушились на меня градом камней, полагаю, эта была коронной, той самой, что и убила моего внутреннего гения. Я использую слово «гений» по глупости: в конце концов, сам гений – не повод для хвастовства, раз он лишь болезненное, нездоровое состояние интеллекта, или, по крайней мере, был представлен мне таковым одним моим учёным другом, который, видя, что я находился в расстроенных чувствах, приложил все усилия, чтобы сделать меня ещё несчастнее, если это было возможно. Он доказал, – если не к моей, то уж точно к его собственной радости, – что аномальное положение определённых молекул в мозгу производит эксцентриситет, или специфические отклонения в одном направлении, которые на практике можно описать, как интеллектуальную форму мономании, но которую большинство людей предпочитают именовать «гением»; и с этой чисто научной точки зрения становится очевидным, что поэты, художники, музыканты, скульпторы и все широко известные великие люди на земле должны попадать под категорию так или иначе подверженных влиянию образования аномальных молекул, которые, строго говоря, являют собой уродство мозга. Он уверял меня, что для правильно сбалансированного, здорового мозга человеческого существа гений невозможен, это болезнь, столь же неестественная, сколь и редкая. «И это странно, весьма странно, – добавлял он с довольной улыбкой, – что мир обязан всеми своими прекраснейшими видами искусства и литературы нескольким разновидностям молекулярной болезни!». Я тоже полагал это весьма странным, однако не утруждал себя спорами с ним; я только чувствовал, что если заболевание «гения» когда-либо и поражало меня, то совершенно определённо, что теперь я больше уж не страдал от его восхитительных приступов и медово-сладкой горячки. Я был исцелён! Скальпель мирского цинизма нашёл путь к музыкально пульсирующему центру божественного недуга в моём мозге и навсегда перерезал рост прекрасных фантазий. Я отбросил яркие иллюзии, которыми когда-то улаждался; я заставил себя смотреть непоколе-

бимым взглядом на обширные растраты всеобщего Ничтожества, открытого мне жестокими позитивистами и иконоборцами века; но внутри меня погребло моё сердце; всё моё существо погрузилось в ледяную апатию; больше я не пишу и сомневаюсь, что когда-либо смогу писать вновь. По правде сказать, не о чем и писать. Всё уже сказано. Дни трубадуров миновали, нельзя создать гимн любви для мужчин и женщин, чья главная страсть – это жажда золота. И всё же порой я думаю, что жизнь была бы ещё ужаснее, если бы голоса поэтов вовсе не звучали; и я хотел бы – да! – я хотел бы, чтобы в моих силах было начертать собственноручную подпись на бронзовом лике этого холодного, бездушного века, глубоко оттеснить её этими буквами живой лиры под названием Слава!

Взгляд, выразивший разбитые устремления и неудовлетворённые амбиции, появился в его задумчивых глазах; его сильные изящные руки нервно сжимались, словно хватали некую невидимую, но вполне осязаемую сущность. Как раз в тот момент буря, которая практически стихла в последние минуты, возобновила свой гнев: вспышки молнии засверкали сквозь ненавешенное окно, и тяжёлые раскаты грома разразились над головой внезапным грохотом взорвавшейся бомбы.

– Вас заботит слава? – внезапно спросил Гелиобаз, как только ужасающий рёв утонул вдали и унылый грохот смешался со стуком града.

– Да, заботит! – отвечал Олвин, и его голос был очень тих и задумчив. – Поскольку, хоть мир и кладбище, как я уже говорил, набитое безымянными могилами, но всё же то и дело встречаются образцы, подобные могилам Шелли или Байрона, на которых бледные цветы, как нежные импровизации вечно молчащей музыки, взрываются бесконечным цветением. И разве я не заслуживаю собственного посмертного венка из асфоделей?

Был некий неопиcуемый, почти душераздирающий пафос в его последних словах – безнадёжность всех усилий и чувство отчаяния и краха, которое он сам, казалось, сознавал, поскольку, встретив пристальный и серьёзный взгляд Гелиобаза, он быстро вернулся к своей обычной манере ленивого безразличия.

– Видите ли, – проговорил он с вымученной улыбкой, – моя история не так уж интересна! Ни головокружительных побегов, ни леденящих кровь приключений, ни любовных интриг – ничего, кроме душевных страданий, к которым немногие люди питают симпатии. Ребёнок, порезавший палец, встречает больше всеобщего сочувствия, чем мужчина с измученным разумом и разбитым сердцем, и всё-таки не может быть никаких сомнений по поводу того, которое из этих двух страданий более долгое и мучительное. Однако таковы мои беды – я поведал вам всё; я распахнул перед вами «рану моей жизни» – рану, которая пульсирует, и ноет, и горит сильнее с каждым днём и часом, так что не удивительно, я полагаю, что я отправился на поиски небольшого облегчения страданий, краткого пространства грёз для недолгого отдыха и побега от смертоносной Истины – истины, что, подобно горящему мечу, помещённому на востоке легендарного Эдема, оказывается беспощадной во всех отношениях, держа нас на расстоянии от утраченного рая творческих устремлений, которые делают людей прошлого великими, потому что они считали себя бессмертными. Это была великая вера! Это крепкое сознание того, что во время перемен и потрясений вселенной душа человека должна навеки отвергнуть катастрофу! Но теперь, когда мы знаем, что у нашей жизни не больше ценности, чем, собственно говоря, у какой-нибудь бактерии в застоявшейся воде, – какие великие дела могут вершиться, какие благородные подвиги созидаются перед лицом провозглашённой и доказанной тщетности всего сущего? И всё же, если вы можете, как говорите, высвободить меня из плотской тюрьмы и подарить мне новые чувства и впечатления, в таком случае позвольте мне улететь со всей возможной скоростью, ведь я уверен, что не встречу на бушующих просторах космоса ничего хуже, чем жизнь, которой живёт нынешний мир. Знайте, что я весьма скептически настроен против вашей силы, – он остановился и поглядел на белые священнические одежды сидевшего напротив, а затем добавил легкомысленно: – но мне всё равно

любопытно её испытать. Вы готовы к вашим заклинаниям? И стоит ли мне произнести «Ныне отпускаеши»?

Глава 3. Отшествие

Гелиобаз молчал, казалось, его занимали глубокие, беспокойные размышления, и он не спускал пристального взгляда с лица Олвина, будто отыскивал на нём решение некой сложной загадки.

– Что вам известно о «Ныне отпускаеши»? – спросил он наконец с полуулыбкой. – Вы с таким же успехом могли бы произносить и «Отче наш»: что гимн, что молитва – для вас одинаково лишены смысла! Поскольку вы и есть поэт, – или, лучше скажу, вы им *были*, – поскольку не рождалось ещё поэта – атеиста...

– Вы заблуждаетесь, – быстро прервал его Олвин: – Шелли был атеистом.

– Шелли, мой дорогой друг, *не был* атеистом. Он стремился стать таковым, – нет, он таковым притворялся, – но сквозь его поэмы нам слышится голос его внутреннего и лучшего воззвания к тому Божественному и Вечному, чьё присутствие, несмотря на его материализм, он инстинктивно ощущал в себе. Я повторяю, поэт, каковым вы были раньше, и поэт, каковым вы станете в будущем, когда облака в вашем разуме прояснятся, – вы представляете странное, но необычайное зрелище бессмертного духа, сражающегося за то, чтобы опровергнуть его собственное бессмертие. Одним словом, вы не веруете в душу.

– Я не могу! – сказал Олвин с жестом отчаяния.

– Почему?

– Наука не способна предоставить нам ни одного доказательства её существования; её не могут отыскать.

– Что вы подразумеваете под «наукой»? – спросил Гелиобаз. – Подножье горы, у которой человек пребывает ныне, пресмыкающийся и незнающий, как на неё взобраться? Или саму её сияющую вершину, которая соприкасается с Божественным тронном?

Олвин не ответил.

– Скажите мне, – продолжал Гелиобаз, – как вы определяете жизненное начало? Какая таинственная служба отвечает за сердцебиение и кровообращение? Посредством крошечного фонарика сегодняшней так называемой науки сможете ли вы пролить свет на тёмную головоломку с виду бесполезной Вселенной и объяснить мне, почему мы вообще живём?

– Эволюция, – кратко отвечал Олвин, – и необходимость.

– Эволюция из чего? – настаивал Гелиобаз. – Из одного атома? *Какого* атома? *И откуда* взялся этот атом? И что за *необходимость* в каком-либо атоме?

– Человеческий разум буксует на подобных вопросах! – сказал Олвин раздражённо и нетерпеливо. – Я не способен ответить на них! Никто не способен!

– Никто? – Гелиобаз очень спокойно улыбнулся. – Не будьте в этом так уверены! И с чего бы человеческому разуму «буксовать»? Проницательному, расчётливому, ясному человеческому разуму, который никогда не утомляется, и не удивляется, и не смущается! Который устраивает всё самым практичным и благоразумным образом и, вместе с тем, избавляется от Бога, как от лишнего участника торговой сделки, нежелательного в общей экономике нашей маленькой солнечной системы! Ай, человеческий разум – удивительная вещь! И при этом с помощью резкого, верного удара вот этим, – и он вытащил из стола нож для бумаги с массивной, оправленной в серебро костяной ручкой, – я мог бы настолько заглушить его, что душа утратила бы всякое сообщение с ним, и он лежал бы мёртвой массой внутри черепа, не более полезный для своего хозяина, чем парализованная конечность.

– Вы хотите сказать, что мозг не может действовать без руководства души?

– Именно! Если ручки на циферблате телеграфа не откликаются аккумулятору, то телеграмму невозможно будет расшифровать. Но было бы глупо отрицать существование аккумулятора по той причине, что циферблат неисправен! Подобным образом, когда из-за физиче-

ской немощи или наследственного заболевания мозг не способен более получать внушений или электрических сигналов от души, он практически бесполезен. И всё же душа находится в нём постоянно, молча ожидая освобождения и иной возможности развития.

– Это и есть ваше понимание идиотизма и маний? – недоверчиво спросил Олвин.

– Вероятнее всего; идиотизм и мании всегда происходят от человеческого вмешательства в законы жизнедеятельности организма или природы, иначе никак. Душа, помещённая внутри нас Творцом, оказывается замороженной человеческой свободной волей; если человек по своей свободной воле выбирает следование в неверном направлении, то ему остаётся винить лишь себя за катастрофические последствия такого выбора. Вы, вероятно, спросите, зачем же Господь наделил нас свободной волей, ответ прост: чтобы мы могли служить ему добровольно, а не принудительно. Среди бесчисленного множества миров, что ясно и несомненно доказывают Его доброту, с чего бы Ему стремиться принудить к подчинению нас, изгнанников!

– Раз уж мы об этом заговорили, – произнёс несколько насмешливо Олвин, – если уж вы уверяете, что Бог есть, и наделяете его свойством высшей любви, то с какой стати, во имя Его же предполагаемой неистоимой благодати, мы вообще вынуждены быть изгоями?

– Потому что с нашей самонадеянной гордостью и эгоизмом мы сами избрали этот путь, – отвечал Гелиобаз. – Мы пали, подобно ангелам. Но теперь мы не совсем изгой, с тех пор как этот символ, – и он коснулся креста на груди, – воссиял в небесах.

Олвин презрительно пожал плечами.

– Простите меня, – прохладным тоном проговорил он, – при всём желании уважать ваши религиозные убеждения, я действительно не способен, говоря откровенно, принять догматы старой веры, которую все прогрессивные умы современности отрицают как просто невежественное суеверие. Сын плотника из Иудеи, несомненно, был очень уважаемой личностью – учителем-социалистом, чьи принципы были весьма выдающимися в теории, но невыполнимыми на практике. Что была хоть капля божественного в нём, я категорически отрицаю; и признаюсь, я удивлён, что вы, человек очевидно культурный, кажется, не видите глубокой абсурдности Христианства, как системы моральных принципов и основы цивилизации. Оно ведь вечно сеет семена раздора и ненависти между народами; оно стало *casus belli*³ для всех морей жестокого и никому не нужного кровопролития...

– Скажите мне что-нибудь новенькое по этому поводу, – прервал его Гелиобаз с лёгкой улыбкой. – Я уже столько раз слышал всё это прежде от различных типов людей – и образованных, и невежественных, которые намеренно упускают всё, что сам Христос пророчествовал касательно Его кредо самоотречения, столь сложного для эгоистичного человечества: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч...». А также: «И все будут ненавидеть вас из-за имени Моего... и гнать и всячески несправедливо злословить за Меня». Такие простые слова будто полностью позабыты нынешним поколением. И, знаете, я нахожу любопытным недостаток новизны у так называемых «вольнодумцев»; фактически, их идеи едва ли возможно назвать «вольными», коль скоро все они вращаются в столь узких колеях, что бредущее на бойню стадо овец под предводительством мясника не могло бы заблуждаться сильнее в своём покорном, блеющем невежестве относительно того, куда они идут. Ваши суждения, к примеру, ни на йоту не отличаются от мыслей тех простых хамов, которые, читая свою грошовую радикальную газету, считают, что способны обходиться без Бога, и говорят о «сыне плотника из Иудеи» так же легкомысленно и непочтительно, как и вы. «Прогрессивные умы современности», к которым вы апеллируете, чрезвычайно ограничены в своём понимании, и ни один из них, литератор или нет, не имеет такого кругозора, как был у любого из этих вот погибших или исчезнувших писателей, – и он обвёл рукой окружающие их книжные полки, – которые жили века назад, а сейчас, насколько показывает современная

³ «Казус белли» – формальный повод для объявления войны.

публика, позабыты. Все фолианты здесь – пергаментные рукописи, скопированные с оригинальных плит обожжённой глины, каменных табличек и выгравированных пластин слоновой кости, и среди них есть один изобретательный трактат некоего Ремени Арданоса, главного астронома тогдашнего царя Вавилона, описывающий атом и теорию эволюции с гораздо большей точностью и ясностью, чем любой из ваших современных профессоров. Все подобные предположения стары – стары как мир, уверяю вас; и наши сегодняшние дни, в которые вы живёте, гораздо более походят на второе детство мира, чем на его передовой расцвет. В особенности в вашей стране всеобщий маразм, похоже, достиг своего апогея, поскольку там у вас живут люди, поистине забывающие, высмеивающие или отрицающие своих же величайших предстателей, кто составляет единственную вечную славу их истории; они даже сделали всё невозможное для того, чтобы очернить незапятнанную славу Шекспира. В этой земле вы, – кто, согласно вашим же собственным словам, начал гонку жизни, исполненным высоких надежд и вдохновения, к ещё более высокой цели, – вы были отравлены грязной атмосферой атеизма, которая, медленно и коварно проникает во все слои общества, а в особенности, в высшие его слои, которые, по мере того как становятся с каждым днём всё более небрежными по отношению к нравственности и всё более развязными в своём поведении, считают себя слишком мудрыми и «высококультурными» для того, чтобы во что-то верить. Это самая нездоровая атмосфера, исполненная заболеваний и микробов национальной болезни и упадка; непросто дышать ею, избегая заразы; и в вашей отрицании божественности Христа я виню вас не более, чем стал бы винить несчастное создание, сражённое чумой. Вы подхватили негативную, агностическую и атеистическую инфекцию от других – она не есть естественное, здоровое состояние вашего характера.

– Напротив, так и есть, насколько обстоят дела, – сказал Олвин с печальным пылом. – Говорю вам, я поражён, крайне поражён, что вы, с вашим умом, способны придерживаться такой варварской идеи, как божественность Христа! Человеческий разум восстаёт против неё; и, в конце концов, относитесь к этому как угодно несерьёзно, но разум – единственная вещь, которая немного возвеличивает нас над уровнем животных.

– Нет, животные пользуются даром рассудка вместе с нами, – ответил Гелиобаз, – и человек лишь доказывает собственное невежество, если отрицает этот факт. На самом деле часто даже насекомые проявляют больше благоразумия, чем мы, – любой истинно талантливый натуралист согласился бы со мною в этом утверждении.

– Так-так! – и Олвин начал терять терпение. – Рассудок или не рассудок, а я повторяю, что легенда, на которой основывается Христианство, абсурдна и нелепа, поскольку, будь в ней хоть капля истины, Иуда Искариот вместо вселенского осуждения должен был бы снискать честь и быть канонизирован, как первый святой!

– Должен ли я напомнить вам первые дни наставничества? – мягко спросил Гелиобаз. – В книге, которую вы, кажется, позабыли, вы найдёте точное пророчество Христа: «Горе тому человеку», который Его предал. Говорю вам, как бы мало значения вы ни придавали этому, нет ни единого слова, сказанного Безгрешным здесь, на земле, которое уже, или в будущем, не исполнилось бы. Но я не желаю вступать в словопрения с вами; вы поведали мне свою историю, я выслушал её с интересом и, могу ещё прибавить, с сочувствием. Вы поэт, поверженный материализмом, потому что вам не достало сил противостоять ему; вы бы охотно возвратили свою певучую речь – и это и есть главная причина, отчего вы пришли ко мне. Вы полагаете, что если получите тот необычайный опыт, который другие имели под моим руководством, то смогли бы вернуть своё вдохновение, хотя вы и не знаете, почему так решили, – не знаю и я, но могу лишь догадываться.

– И ваша догадка?.. – спросил Олвин с видом задетого безразличия.

– Что некая высшая сила работает над вашим спасением и безопасностью, – ответил Гелиобаз. – Что это за сила, я не отважусь предполагать, но ангелы всегда рядом с нами!

– Ангелы! – рассмеялся вслух Олвин. – Сколько ещё вы наплетёте мне сказок при помощи вашего по-восточному богатого воображения? Ангелы! Видите ли, мой добрый Гелиобаз, я полностью допускаю, что вы, быть может, очень умный человек со странным предубеждением в пользу Христианства, но должен попросить, чтобы вы не говорили мне об ангелах, духах и прочей ерунде, словно я какой-то ребёнок, ожидающий развлечений, а не взрослый мужчина с...

– Со столь взрослым интеллектом, что он уже перерос самого Бога! – невозмутимо закончил Гелиобаз. – Именно так! И всё же ангелы, в конце концов, всего лишь бессмертные души, подобные вашей или моей и освобождённые от своей земной обители. Например, когда я вот так смотрю на вас, – и он устремил на него яркий, пронизательный взор: – я вижу гордого, сильного, мятежного ангела в далёкой глубине вашей человеческой оболочки... а вы... когда вы смотрите на меня...

Он замолчал, поскольку Олвин в тот момент выпрыгнул из кресла и, пристально уставившись на него, издал быстрое, яростное восклицание.

– Ах! Теперь я понимаю! – вскричал он с внезапным чрезвычайным волнением. – Я отлично вас знаю! Мы уже встречались с вами прежде! Почему, после всего случившегося, мы с вами снова встречаемся?

Эта необычайная речь сопровождалась ещё более необычайным преобразованием его лица: мрачное, яростное торжество вспыхнуло в его взгляде, и в суровом, хмуром удивлении и вызывающем выражении лица и поведении было нечто величественное, но ужасающее, злое и, вместе с тем, сверхъестественно возвышенное. Он стоял так несколько мгновений, мистически мрачный, словно некий горделивый, лишённый короны император, встречающий своего победителя; раскатистый, продолжительный громовой удар снаружи, казалось, привёл его в чувства, и он плотно прижал руками свои веки, будто в попытке скрыться от какого-то подавляющего видения. После паузы он снова поднял взгляд – дикий и смущённый, почти умоляющий, – и Гелиобаз, заметив его, поднялся и приблизился к нему.

– Мир! – сказал он тихим выразительным голосом. – Мы признали друг друга, но на земле подобное узнавание кратко и вскоре забывается! – Он выждал несколько мгновений, затем осторожно продолжил: – Ну же, взгляните на меня теперь!.. Что вы видите?

– Ничего... только вас! – ответил он, глубоко вздохнув. – И всё же... весьма странно, минуту назад мне показалось, что вы выглядели по-другому... мне показалось, я видел... неважно что! Не могу описать! – Его брови сошлись в задумчивом выражении. – Это было любопытное явление, очень любопытное... и оно странным образом на меня повлияло... – Он резко замолчал, затем прибавил с лёгкой примесью раздражения: – Я вижу, вы поднаторели в искусстве оптического обмана!

Гелиобаз мягко рассмеялся.

– Конечно! Чего ж ещё вам было ожидать от шарлатана, фокусника и монаха! Обмана, надувательства, мой дорогой сер!.. Но не вы ли просили, чтобы вас одурачили?

В его вопросе прозвучала добродушная, едва заметная насмешка; он бросил взгляд на высокие дубовые часы, что стояли в одном углу комнаты, – стрелки показывали одиннадцать.

– А теперь, м-р Олвин, – продолжил он, – думаю, на сегодня мы уже достаточно наговорились, и мой совет вам – пойти отдохнуть и поразмыслить обо всём, что я вам сказал. Я полон желаний вам помочь, если смогу, но с вашими верованиями, или скорее неверием, я, не колеблясь, скажу вам откровенно, что влияние моей внутренней силы на вашу в нынешнем состоянии может оказаться чреватым опасностью и страданиями. Вы говорили об Истине, «смертоносной истине»; это, однако, есть не что иное, как истина, согласно мирскому мнению, которая меняется с течением поколений, и по этой причине никакая вовсе не истина. Существует иная Истина – непреходящая истина, стержень всей жизни, которая никогда не меня-

ется; и только с ней одной и имеет дело моя наука. Если я решусь освободить вас, как вы того желаете; если ваш разум также внезапно проснётся от ослепляющего ужаса ваших ошибочных суждений о жизни, смерти и будущности, – то результат может оказаться гораздо более ошеломляющим, чем вы или я можем себе представить! Я объяснил вам, на что я способен, ваше неверие не меняет реальности моих возможностей. Я могу разделить вас, – то есть вашу душу, которую вы не можете отыскать, но которая тем не менее существует, с вашим телом, – как мотылька с куколкой; но я не смею даже вообразить себе, в какое жаркое пламя мотылька не следовало бы лететь! Вы можете в этом временном состоянии разъединённости получить тот новый импульс для ваших мыслей, которого так страстно жадете, а можете и не получить; короче, невозможно построить догадку относительно того, принесёт ли вам этот опыт божественный экстаз или неопиcуемый ужас. – Он помолчал немного, Олвин наблюдал за ним со скрытой напряжённостью, граничившей с очарованием, и затем он продолжил: – Самое лучшее, в любом случае, чтобы вы обдумали это дело более тщательно, чем до сих пор; поразмыслите над этим внимательно и ответственно до этого же часа завтрашнего дня, затем, если вы всё же решитесь...

– Я решился уже *сейчас!* – проговорил Олвин медленно и решительно. – Если вы так уверены в собственных силах, то вперёд! Разомкните мои оковы! Распахните двери тюрьмы! Отпустите меня отсюда прямо сегодня; нет лучшего времени, чем сейчас!

– Сегодня! – и Гелиобаз устремил на него свой пронизательный, яркий взгляд, выражавший удивление и упрёк. – Сегодня, без всякой веры, подготовки и молитвы вы просите швырнуть вас через пространства миров, словно пылинку в бушующий шторм? За пределы сверкающего вращения бесчисленных звёзд – сквозь блеск подобных мечу летящих комет – сквозь тьму – сквозь свет – сквозь бездны глубочайшей тишины – выше сверхзвуковых вибраций звука – *вы*, вы посмеете блуждать по этим созданным Богом пространствам, вы – богохульник и неверующий в Бога!

Голос его дрожал от страсти, вид у него был такой торжественный, и серьёзный, и впечатляющий, что Олвин, удивлённый и напуганный, недолго пребывал в молчании, а затем, гордо вскинув голову, отвечал:

– Да, *я посмею!* Если я бессмертный, то испытаю свою неуязвимость! Я встречу с Богом лицом к лицу и найду этих ангелов, о которых вы говорите! Что сможет мне помешать?

– Найдёте ангелов! – Гелиобаз печально поглядел на него при этих словах. – Нет! Помолитесь лучше, чтобы они смогли найти *вас!* – Он долго и пристально смотрел в лицо Олвина, на котором как раз тогда показался лёгкий проблеск довольно насмешливой улыбки, и, когда он смотрел, его собственное лицо вдруг омрачилось выражением неясной тревоги и беспокойства, и странная дрожь заметно потрясла его с головы до пят.

– Вы дерзки, м-р Олвин, – сказал он наконец, слегка отстраняясь от своего гостя и говоря с видимым усилием, – дерзки до глупости, но вместе с тем вы ведь невежественны относительно того, что лежит под завесой невидимого. Я был бы сильно виноват перед вами, если бы отправил вас сегодня, без всякого руководства, совершенно не подготовленного. Я и сам должен подумать и помолиться, прежде чем рискну взять на себя такую ужасную ответственность. Завтра, быть может, сегодня – нет! Я не могу и даже не стану!

Олвин ярко вспыхнул от гнева. «Обманщик! – подумал он. – Он чувствует, что не имеет никакой власти надо мною, и он боится пойти на риск и потерпеть неудачу!»

– Верно ли я расслышал? – спросил он вслух холодным решительным тоном. – Вы не можете? Вы не станете?.. Бог мой! – и его голос повысился. – А я говорю, что вы должны! – Когда он выпалил эти слова, поток неопиcуемых чувств захватил его: он будто весь, без остатка, отдался во власть какой-то таинственной непреодолимой высшей воли; он ощутил себя одновременно человеком и полубогом и, действуя под напором непреодолимого импульса, которого он не мог ни объяснить, ни сдержать, он сделал два или три поспешных шага вперёд; тогда

Гелиобаз, стремительно отступая, отмахнулся от него красноречивым жестом, выразившим одновременно призыв и угрозу.

– Назад! Назад! – предупредительно закричал он. – Если вы приблизитесь ещё хоть на дюйм, то я не могу отвечать за вашу безопасность! Назад, я сказал! Боже мой! Вы же не ведаете собственной силы!

Олвин едва обращал на него внимание: какое-то роковое влечение захватило его, и он всё шёл вперёд, когда вдруг неожиданно остановился, весь отчаянно дрожа. Его нервы начали остро пульсировать, кровь в венах вскипела огнём, горло сдавил непонятный удушающий спазм, мешавший ему дышать, он смотрел прямо перед собой огромными, горящими, остекленевшими глазами. Что, что это было за ослепляющее нечто в воздухе, что сверкало, и кружилась, и сияло, словно горящие диски золотого пламени? Губы его разомкнулись, он неуверенно протянул руки, как слепой, нащупывающий свой путь.

– О боже, боже! – бормотал он, словно поражённый неким внезапным чудом, а потом с придушенным, захлёбывающимся криком он тяжело повалился вперёд – на пол, без чувств!

В тот же самый миг окно распахнулось с громким треском – оно раскачивалось из стороны в сторону на петлях, и потоки дождя косо хлынули сквозь него в комнату. Удивительная перемена произошла во внешности и в поведении Гелиобаза: он стоял, словно приросший к своему месту, он дрожал с головы до ног, он растерял всё своё обычное хладнокровие, он был смертельно бледен и с трудом дышал. Затем, немного придя в себя, он попытался закрыть болтавшиеся створки, но ветер был столь неистов, что ему пришлось немного помедлить, чтобы собраться с силами, и инстинктивно он выглянул наружу – в бурную ночь. Тучи носились по небу, словно огромные чёрные корабли по пенным волнам моря, молния непрерывно сверкала, и гром отражался от гор чудовищными залпами, будто из осаждающих орудий. Жалящие капли ледяного мокрого снега летели ему в лицо и на грудь белого одеяния, пока он несколько мгновений вдыхал бушующую свежесть сильного, взметнувшегося вверх порыва, а затем с видом человека, собравшего все свои разрозненные силы воедино, он уверенно захлопнул окно и запер его. Повернувшись теперь к бесчувственному Олвину, он поднял его с пола и перенёс на низкую кушетку рядом и там осторожно уложил. Сделав это, он стоял, глядя на него с выражением глубочайшего беспокойства, но не пытался избавиться от смертельного обморока. Его собственная обычная невозмутимость разлетелась на куски, он имел вид человека, испытавшего неожиданное и непомерное потрясение, даже его губы побледнели и нервно подрагивали.

Он выждал несколько минут, внимательно наблюдая за лежащей фигурой перед собою, пока постепенно, очень медленно, эта фигура не обрела бледную, суровую красоту тела, которое только что безболезненно покинула жизнь. Конечности стали жёсткими и неподвижными, черты лица сгладились этим таинственным, мудрым, бледным спокойствием, которое так часто заметно на лицах мертвецов; прикрытые веки казались пурпурно-багровыми, будто в синяках. Ни вздохом, ни движением не подавал он намёка на воскрешение; и когда спустя немного времени Гелиобаз склонился и прислушался, то в сердце не было пульсации – оно перестало биться! По всем признакам Олвин был мёртв – любой врач подтвердил бы этот факт, хотя причина его смерти и была неясна. И в таком состоянии – застывшем, бездыханном, бледном, как мрамор, заледеневшем и неподвижном, как камень, – Гелиобаз его и оставил. Не с безразличием, а точно зная – зная, невзирая на обычную медицину, – что бесчувственный кусок глины в положенное время воскреснет к жизни; что шкатулка лишь временно освобождена от её драгоценности; и что сама драгоценность, душа поэта, сумела посредством вмешательства нечеловеческой воли разорвать свои узы и куда-то сбежать. Но куда?.. В какие обширные миры прозрачного света или мрачных теней?.. На этот вопрос монах-мистик, поистине одарённый могущественным духовным даром повелевать «вещами невидимыми и вечными», не мог отыскать удовлетворительного ответа; и в этом тревожном недоумении он отправился

в часовню, и там, в свете красных лучей багровой звезды, что тускло сияла над алтарём, он преклонил колени в одиночестве и молился в тишине, пока штормовая ночь не миновала и буря не погибла от меча собственной ярости на тёмных склонах Дарьяльского ущелья.

Глава 4. «Ангелус Домини»

Следующее утро медленно рассветало над морем серого тумана: ни единого просвета ландшафта не было видно – ничего, кроме серой пустоты витающего тумана, что медленно полз – складка за складкой, волна за волной, словно вознамерившись обесцветить весь мир. Очень слабый холодный свет проникал сквозь узкое, арковидное окно комнаты, где Олвин лежал, всё ещё окутанный глубоким сном, столь похожим на тот последний вечный сон, от которого, как говорят нам некоторые из современных учёных, не может быть пробуждения. Состояние его не изменилось; тусклые лучи раннего восхода, падая на его лицо, усиливали восковую бледность и неподвижность; ужасное таинство смерти довлело над ним – убогая беспомощность и брэнность тела без духа. В момент, когда монастырский колокол начал звонить к заутрене и его ясный звон разорвал глубокую тишину, дверь открылась, и Гелиобаз в сопровождении другого монаха, чьё добродушное лицо и красивые, мягкие глаза выдавали внутреннее умиротворение, вошли в комнату. Вместе они приблизились к кушетке и долго и серьёзно смотрели на спавшего сверхъестественным сном мужчину.

– Он всё ещё далеко! – сказал, наконец, Гелиобаз со вздохом. – Так далеко, что это внушает опасения. Увы, Илларион! Насколько же малы наши знания! Даже со всей духовной поддержкой религиозной жизни как мало мы можем! Мы познаём одно – и тут же появляется другое, мы побеждаем одну сложность – и другая немедленно выскакивает, чтобы встать у нас на пути. Если бы я только имел необходимое врождённое восприятие, чтобы предвидеть вероятность вылета этого освободившегося бессмертного создания, то разве не смог бы я спасти его от какого-нибудь непредсказуемого несчастья или страдания?

– Думаю, что нет, – отвечал довольно задумчивым тоном монах по имени Илларион, – думаю, что нет. Такая защита никогда не будет доступна простому человеческому разуму, если этой душе суждено спастись или укрыться в своём невидимом странствовании, то, так или иначе, это случится каким-нибудь образом, которого все чудеса нашей науки не смогут предсказать. Вы говорите, он был неверующим?

– Именно.

– Каково же было его кредо?

– Страсть познать то, что он называл Истиной, – ответил Гелиобаз.

– Он, как и многие другие, не брал на себя труд задуматься чуть глубже над скрытым смыслом знаменитого вопроса Пилата: «Что есть истина?». Нам-то известно, что это, как обычно бывает, – несколько так называемых фактов, которые через тысячелетие будут полностью опровергнуты, перемешаны с несколькими конечными мнениями, предложенными колеблющимися мыслителями. Короче говоря, истина, согласно мирскому пониманию, – это просто то, что миру покамест приятно считать таковой. «Весьма небрежно ставку делать на бессмертную судьбу!».

Илларион приподнял холодную, безжизненную руку Олвина, она была негибкая и белая как мрамор.

– Я полагаю, – сказал он, – в его будущем возвращении к нам сомнений нет?

– Абсолютно нет, – решительно отвечал Гелиобаз. – Его жизнь на земле продлится ещё многие годы, поскольку покаяние его ещё не завершено, воздаяния он ещё не заслужил. Насчёт этого мои знания о его судьбе точны.

– Значит, вы вернёте его сегодня? – продолжал Илларион.

– Верну? Я? Я не могу! – сказал Гелиобаз с оттенком печальной покорности в голосе. – И по этой самой причине я и боялся отправлять его отсюда, и не сделал бы этого, – только не без подготовки, во всяком случае, – если бы мог действовать по-своему. Его отшествие было более удивительным, чем все прочие, известные мне, к тому же оно стало его собственным

деянием, а не моим. Я категорически отказался применять к нему свою силу, потому что я чувствовал, что он находился не в моей власти и что поэтому ни я, ни любой из высших мудрецов, с которыми я состою в контакте, не смогли бы управлять или направлять его путешествие. Он, однако, был настолько же категорично уверен в том, что я *должен* был её применить, и для этого он вдруг сконцентрировал весь сдерживаемый пыл его характера в одном стремительном усилии воли и пошёл на меня. Я предупреждал его, но напрасно! Быстро, как молния отвечает молнии, две невидимых бессмертных силы внутри нас восстали в немедленном противостоянии с той только разницей, что, пока он не имел понятия о своей силе и не осознавал её, я всецело понимал и осознавал свою. Моя была сфокусирована на нём, его была неумелой и рассеянной – в результате моя сила одержала победу; и всё-таки, поймите меня правильно, Илларион, если бы я мог сдерживать его, я бы так и сделал. Но это он – он извлёк из меня мою же силу, словно меч из ножён, а меч обычно сидит в ножнах прочно, однако сильная рука каким-то образом выхватит его и использует для сражения, когда будет необходимо.

– В таком случае, – с удивлением проговорил Илларион, – вы признаёте, что этот мужчина обладает силой, превышающей вашу собственную?

– Ах, если бы он только знал об этом! – спокойно ответил Гелиобаз. – Но он не знает. Лишь ангел может научить его, а в ангелов он не верит.

– Он может поверить теперь!

– Может. Поверит – должен поверить, если только он ушёл туда, куда бы я его направил.

– Поэт, не так ли! – спросил Илларион мягко, склоняясь ниже, чтобы рассмотреть получше прекрасное, подобное Антиною лицо, бесцветное и холодное, как скульптурный гипс.

– Некоронованный монарх мира песни! – ответил Гелиобаз с нежной интонацией прекрасного голоса. – Гений, какого земля видит раз в столетие! Но он оказался сражённым болезнью неверия и лишённым надежды, а где нет надежды – нет и длительного творчества. – Он замолчал и мягким прикосновением, словно женщина, поправил подушки под отяжелевшей головой Олвина и возложил руку в серьёзном благословении на широкий, бледный лоб, покрытый тяжёлыми волнами тёмных волос. – Пусть бесконечная любовь избавит его от опасности и пошлёт мир и покой! – проговорил он торжественно, а затем, отвернувшись, взял своего товарища под руку, и они вдвоём вышли из комнаты, тихонько прикрыв за собою дверь. Храмовый колокол продолжал звонить медленно, неспешно, посылая приглушённое эхо сквозь туман ещё несколько минут, а затем умолк, и воцарилась глубокая тишина.

Монастырь всегда был очень тихой обителью, стоя на такой высокой и бесплодной скале, он намного превышал пределы досягаемости даже самых маленьких певчих птиц, порой лишь какой-нибудь орёл рассекал туман шумом крыльев и резким криком на пути к какому-нибудь далёкому горному гнезду, но никаких иных звуков пробуждавшейся жизни не нарушало тишины медленно расползавшегося рассвета. Прошёл час, а Олвин всё лежал в том же положении: такой же бледный и неподвижный, как труп, готовый к погребению. Вскоре некая перемена начала таинственным образом тревожить воздух вокруг, будто янтарное вино заливало хрусталь: тяжёлые испарения задрожали, как будто вдруг рассечённые хлыстом пламени; они поднимались, раскачивались из стороны в сторону и разрывались на куски. Затем, растворившись до тонкой молочно-белой пелены ворсистой дымки, они уплыли прочь, открыв взору гигантские вершины окружающих гор, что вздымались к свету одна над другою, подобно формам замороженных валов. Над ними нежный розовый румянец сплетал трепетные волнистые линии, длинные стрелы золота начинали пронзать нежное мерцание голубого неба, мягкие клубы облаков с оттенками малинового и бледно-зелёного рассеивались вдоль восточного горизонта, подобно цветам на пути шагающего героя; и тогда вдруг настало хрупкое затишье в небесах, как будто вся вселенная внимательно выжидала какого-то грандиозного, но ещё не явленного великолепия. И оно раскрылось багровым блеском триумфа солнечного рассвета, проливая душ сияющего света на белую пустоту вершин, покрытых вечными снегами; зазуб-

ренные пики, острые как ятаганы и сверкающие льдами, поймали огонь и словно растаяли в поглощающем море сияния; ожидавшие облака продолжили движение, окрасившись ещё более глубокими оттенками королевского пурпура, и утро явилось во всей своей славе. Когда ослепительный свет устремился сквозь окно и залил кушетку, где лежал Олвин, слабый окрас возвратился его лицу, губы шевельнулись, широкая грудь с трудом наполнилась воздухом, веки дрогнули, и его прежде негнувшиеся руки расслабились и сами собой сложились в положение молитвы и умиротворённости. Будто статуя медленно оживала магическим образом, тёплые оттенки нормально бегущей крови проступали сквозь белизну его кожи; дыхание становилось всё более лёгким и ровным; черты лица постепенно обретали нормальный вид, и тогда, без единого рывка или вскрика, он очнулся! Но было ли это истинное пробуждение? Или скорее продолжение какого-то странного ощущения, испытанного во сне?

Он поднялся на ноги, отбросил волосы со лба с замороженным взглядом, выражавшим внимательное изумление; его глаза были влажны и блестели, весь его вид выражал вдохновение. Он пару раз измерил шагами комнату, но явно не сознавал, где находился; он выглядел погружённым в размышления, которые поглощали его целиком. Вскоре он уселся за стол и, рассеянно перебирая писчие приспособления, лежавшие там, он будто задумался над их назначением. Затем, разложив несколько листов бумаги перед собой, начал писать с необычайной скоростью и усердием: его перо бежало плавно, не прерываясь на помарки и исправления. Порой он замирал, но когда это случалось, то всегда сопровождалось возвышенным, внимательным, прислушивающимся выражением. Один раз он пробормотал вслух: «Ардаф! Нет, я не должен забыть! Мы встретимся на поле Ардаф!» – и снова возвратился к своему занятию. Страницу за страницей он покрывал убористыми письменами, выведенными характерным для него особенным ровным, каллиграфическим почерком. Солнце взбиралось всё выше и выше в небеса, часы проходили, а он всё писал, явно не замечая течения времени. В полдень колокол, который молчал с раннего рассвета, начал быстро раскачиваться на колокольне башни; глубокий бас органа вздохнул в тишине громовой монотонностью, и подобные пчелиному жужжанью отдалённые голоса провозгласили слова: «*Angelas Domine nuntiavit Mariae*»⁴.

При первых же звуках песнопения колдовство, сковавшее разум Олвина, рассеялось; быстро подведя черту подо всем, что написал, он подскочил и выронил перо.

– Гелиобаз! – закричал он громко. – Гелиобаз! *Где находится поле Ардаф?*

Его собственный голос показался ему странным и незнакомым, он подождал, прислушиваясь, и молитва продолжилась: «И Слово стало плотью, и обитало с нами».

Внезапно, как если бы больше не мог выносить одиночества, он рванулся к двери и распахнул её, чуть не налетев на Гелиобазу, который как раз собирался войти в комнату. Он отступил, дико уставился на него и, смущённо проведя рукою по лицу, выдавил смешок.

– Я спал! – сказал он, затем с пылким жестом добавил: – Боже! Если бы только этот сон был явью!

Он был сильно взволнован, и Гелиобаз, дружески обхватив его рукой, увёл обратно, к креслу, которое освободил, внимательно наблюдая за ним.

– Вы называете это сном? – спросил он с лёгкой улыбкой, указывая на стол, усеянный записями с ещё не высохшими чернилами. – Тогда сны – более продуктивны, чем активные нагрузки! Вот прекрасный совет для писателей! Отличный результат для одного утра работы!

Олвин подскочил, схватив исписанные листки, и страстно вперился в них взглядом.

– Этой мой почерк! – бормотал он ошеломлённо.

– Конечно! А чей же ещё? – ответил Гелиобаз, наблюдая за ним с научным и одновременно добродушным интересом.

⁴ «Ангел Господень возвестил Марии».

– Тогда это правда! – вскричал он. – Правда, во имя прелести её глаз; правда, во имя её просветлённой любовью улыбки! Правда, о ты, Господь, в котором я смел сомневаться! Правда, во имя всех чудес Твоей непревзойдённой мудрости!

И с этими странными выкриками он с лихорадочной поспешностью начал читать то, что сам же написал. Его дыхание быстро вырывалось, его щёки пылали, его глаза расширились; строку за строкой он внимательно перечитывал с явным удивлением и восторгом, когда, вдруг прервавшись, он поднял голову и продекламировал полущёпотом:

– Великой песни нотой громкой
Я грех свой изгоняю прочь!
Взобраться выше по ступеням звука
Должны мне ангелы молитвою помочь!

– Я где-то слышал этот куплет ещё в детстве, но почему я вспоминаю его сейчас? Она ждала, как она сказала, все эти многие тысячи дней!

Он остановился в задумчивости, а затем продолжил читать, Гелиобаз коснулся его плеча.

– Вам потребуется некоторое время, чтобы прочитать всё это, м-р Олвин, – мягко заметил он. – Вы написали больше, чем знаете.

Олвин поднялся и посмотрел прямо на собеседника. Опустив свою рукопись и положив на него руку, он смотрел с торжественным, вопросительным видом в благородное лицо, решительно стоявшее перед ним.

– Скажите мне, – задумчиво проговорил он, – как это произошло? Это сочинение – моё и одновременно не моё. Поскольку это огромная и совершенная поэма, автором которой я не дерзаю назваться! Я мог бы с таким же успехом сорвать корону из её звёздных цветов и назваться ангелом!

Он говорил одновременно пылко и смиренно. Любому стороннему наблюдателю показалось бы, что он находился во власти какой-то странной галлюцинации, но Гелиобаз понимал его гораздо лучше.

– Идёмте! Идёмте! Ваши мысли сейчас за пределами этого мира, – миролюбиво сказал он. – Постарайтесь призвать их обратно! Я ничего не могу вам сказать, поскольку я ничего не знаю! Вы отсутствовали много часов.

– Отсутствовал? Да! – и голос Олвина задрожал бесконечным сожалением. – Отсутствовал на земле! Ах, если бы только я мог остаться с нею, в Раю! Моя любовь, моя любовь! Где же ещё мне искать её, как не на поле Ардаф?

Глава 5. Мистическое свидание

На последних словах взгляд его омрачило мягкое выражение задумчивой нежности, и многие минуты он пребывал в молчании, в течение которых восторженная, почти неземная красота его лица претерпела постепенное изменение: мистический свет, который временно преобразил его, погас и угас, и постепенно он вернул своё обычное самообладание. Затем, глядя на Гелиобаз, стоявшего, терпеливо ожидая, пока он преодолеет эмоции, занимавшие его разум, он улыбнулся.

– Вы, должно быть, считаете меня сумасшедшим! – сказал он. – Быть может, так и есть, но если так, то меня накрыло безумие любви. Любви! Это страсть, которой я прежде не испытывал. Я пользовался ею, как простой нитью, на кою нанизывал мадригалы; как задний фон неопределённого оттенка, служивший для того, чтобы оттенить более яркие очертания поэзии, – но теперь я порабощён и связан, побеждён и полностью покорён любовью! Любвью к самому нежному, царственному, блистательному созданию, что когда-либо захватывало власть над мужчиной! Может, я и кажусь сумасшедшим, но мне известно, что я здоров: я осознаю настоящий мир вокруг меня, мой разум ясен, мои мысли собраны, и всё же я повторяю, я влюблён! Ах, со всей силой и жаром этого моего сильно бьющегося сердца! – И он коснулся груди. – И дело идёт к тому, мудрейший и почтеннейший Гелиобаз, что если ваши заклинания вызвали это видение бессмертной молодости, красоты и чистоты, что так внезапно обрела столько власти над моей жизнью, тогда вы должны сделать нечто ещё. Вы должны отыскать или научить меня, как отыскать, живую реальность моего сна!

Гелиобаз поглядел на него с некоторым удивлением и сочувствием.

– Минуту назад вы сами провозгласили свой сон реальным! – заметил он. – Это, – и он указал на рукопись на столе, – казалось вам достаточным доказательством. Теперь вы изменили своё мнение, почему? Я не наводил на вас никаких чар, и я абсолютно ничего не знаю о вашем недавнем опыте. Кроме того, что вы называете «живой реальностью»? Плоть и кровь, кость и материю, что погибают через краткие семьдесят лет или около того и рассыпаются в неразличимую пыль? Конечно, если, как я заключаю из ваших слов, вы видели одну из прекрасных обительниц высших сфер, то вы бы не стали тащить её духовную и не ведающую смерти прелесть вниз, на уровень реальности простой человеческой жизни? Нет, если бы и стали, то вам бы это не удалось!

Олвин вопросительно поглядел на него с озадаченным видом.

– Вы говорите загадками, – сказал он немного раздражённо. – Однако всё это дело – тайна, и оно озадачило бы самый проницательный ум. Что физические процессы работы мозга в состоянии транса, должно быть, всколыхнули во мне страсть любви к воображаемому созданию и в то же время позволили написать поэму, которая обеспечила бы славу любому человеку, – это определённо выдающийся и заслуживающий внимания результат научного гипноза!

– Мой дорогой сер, – прервал его Гелиобаз тоном добродушного увещания, – не надо, если только у вас есть хоть капля уважения к науке вообще, – не надо, я вас умоляю, говорить мне о «физических процессах» *мёртвого мозга!*

– Мёртвого мозга! – эхом откликнулся Олвин. – Что вы имеете в виду?

– Что и говорю, – спокойно отвечал Гелиобаз. – «Физические процессы» любого рода не возможны, если движущая сила физической жизни не действует. Внутри вас же, простого человека, она почти на семь часов практически прекратила действовать; жизненного начала более не существовало в вашем теле, оно отправилось в путь вместе с его неразлучным товарищем – душой. Когда оно вернулось, то вновь привело в действие часовую механизм вашего физического тела, подчиняясь владычеству Духа, который стремился выразить материальными средствами приказ боговдохновенной мысли. Таким образом ваша рука механически нашла

путь к перу, таким образом вы писали, не сознавая что именно, отдавшись всецело во власть духовной составляющей вашей природы, которая в тот конкретный момент была абсолютно доминирующей, хотя теперь, вновь обременённая земными факторами, она отчасти ослабила своё божественное влияние. Всё это я с готовностью осознаю и понимаю, но вот что вы делали и куда вас водили во время вашего полного разделения с глиняной обителью, в которой вы снова заключены, – это мне ещё предстоит узнать.

Пока Гелиобаз говорил, лицо Олвина приобрело выражение смутной тревоги, и теперь в его глубоких поэтических глазах появился огонёк внезапного раскаяния.

– Правда! – проговорил он мягко, почти кротко. – Я расскажу вам всё, пока помню, хотя вряд ли когда-нибудь позабуду! Я верю, что должна быть доля истины, в конце концов, во всём, что вы говорите о душе, в любом случае, я в настоящее время не расположен подвергать сомнению ваши теории. Для начала скажу, что нахожу невозможным объяснить происшедшее со мною прошлой ночью, во время нашего с вами разговора. То было очень странное чувство! Вспоминаю, что я выразил желание подвергнуться магнетическому и электрическому воздействию вашей силы и что вы отказали мне в этой просьбе. Тогда странная идея сама собою возникла у меня в голове, а именно, что я мог бы, если бы захотел, заставить вас; и я обратился к вам, или собирался обратиться, в весьма безапелляционной манере, когда вдруг вспышка ослепительного света яростно ударила мне в глаза, будто бич! Оглушённый резкой болью и сбитый с толку вспышкой, я отвернулся от вас и сбежал, как мне показалось, на этом бессознательном импульсе во *тьму*!

Он помолчал и испустил глубокий, дрожащий вздох, словно чудом избежавший неминуемой гибели.

– Тьма! – продолжил он тихим голосом, дрожавшим от воспоминаний о минувшем подвиге. – Плотная, ужасная, пугающая тьма! Тьма, которая тяжело пульсировала мучительным движением невидимого! Тьма, которая сомкнулась и захлопнулась вокруг меня массаами липкой, осязаемой густоты; её усиливающийся и непреодолимый вес накатывал на меня огромными океанскими волнами, и, поглощённый ею, я опускался всё ниже и ниже, к некоей скрытой, неощутимой, но всепобеждающей агонии, чью тупую непрестанную пульсацию я чувствовал, но не мог назвать по имени. «О Боже! – вскричал я вслух, отдаваясь во власть дикого отчаяния. – О Боже! Где же Ты?» – затем я услышал великий шум сильного ветра, производимого крыльями, и голос, величественный и нежный, будто золотая труба вдруг загудела в ночной тишине, ответивший: «Здесь! И везде!». И тут косою поток молочного сияния рассёк мрак одним взмахом лезвия меча, и меня стремительно подхватили, не знаю как, поскольку ничего не видел!

И снова он печально поглядел на Гелиобазу, кто в свою очередь смотрел на него с мягким спокойствием.

– Она была удивительна и ужасна! – продолжил он медленно. – И прекрасна! Та невидимая мощь, что спасла, окружила и вытащила меня; и... – тут он замешкался и яркий румянец окрасил его щёки и лицо до корней волос, – сон или не сон, но я чувствую, что не могу теперь полностью отрицать идею существования божества. Короче, я уверовал в Бога!

– Почему же? – спокойно спросил Гелиобаз.

Олвин открыто встретил его взгляд мягким, просветлённым выражением его прекрасного лица.

– Не могу назвать вам ни одной разумной причины, – сказал он. – К тому же, разумные причины не убедили бы меня в этом деле, где всё представляется противоречащим любой логике. Я верю... просто потому, что верю!

Гелиобаз улыбнулся очень тёплой и дружелюбной улыбкой, но ничего не сказал, и Олвин продолжил рассказывать.

– Как я и говорю, меня подхватили, выдернули из этой чёрной бездны с невероятной быстротой, и, когда движение вверх прекратилось, я уже парил легко, как листок на ветру, через вьющиеся арки янтарного тумана, освещённого тут и там лучами живого пламени. Я слышал шёпот и отрывки песни и речи, что была прекраснее любой нашей музыки, но я всё ещё ничего не видел. Вскоре некто назвал меня по имени: «Теос! Теос! – я попытался ответить, но у меня не было слов, подходивших тому серебристому отдалённому призыву; и снова глубокий, вибрирующий голос пронзил туманный, пламенный воздух: Теос, возлюбленный мой! Выше! Выше!». Всё моё существо затрепетало и задрожало от этого зова. Я жаждал подчиниться, я боролся за то, чтобы подняться, но усилия мои были напрасными; однако, к моей радости и удивлению, маленькая невидимая рука, изящная и сильная, сомкнулась на моей, и меня перенесли наверх с неощутимой, неопишуемой, молниеносной скоростью – вперёд, вперёд и всё вверх, пока наконец, оказавшись на прекрасной земле, густо поросшей ароматными цветами удивительной красоты и оттенков, я не увидел её! И она пригласила меня в свою обитель.

– И кто, – спросил Гелиобаз спокойным, почтительным тоном, – кто же была эта женщина, что так очаровала вашу память?

– Я не знаю! – ответил Олвин с мечтательной, восторженной улыбкой на губах и в глазах. – Но её лицо – о, чарующая красота её лица! – вместе с тем не было мне незнакомо. Я чувствовал, что, должно быть, любил и потерял её века и века назад! С венцом из белых цветов и в наряде, будто паутина из лунных лучей в летней ночи, она стояла и улыбалась сладостной девичьей улыбкой в раю прелестных пейзажей и звуков. Ах, Ева в свете первого сияния солнца не могла быть прекраснее этого божества! Венера, вышедшая из серебристых пенных волн, не могла быть столь же славной королевой! «Я помогу тебе вспомнить всё, о чём ты позабыл», – сказала она, и я понял её мягкий, наполовину укоризненный тон. «Ещё не слишком поздно! Ты многое потерял, и немало страдал, и слепо заблуждался, но, несмотря на всё это, ты – мой возлюбленный вот уже многие тысячи дней!».

– Дней, которые мир считает за годы! – пробормотал Гелиобаз. – Вы больше никогда не видели, кроме неё?

– Никого, мы были только вдвоём. Пустынный лес простирался перед нами, она взяла меня за руку и провела под широкими, развесистыми деревьями к тому месту, где озеро, серебряное в свете какого-то чудного сияния, сверкало подобно бриллианту, покачиваясь от дуновения ароматного ветерка. Здесь она приказала мне отдохнуть и опустилась мягко на цветочный берег рядом со мной. Тогда, рассмотрев её лучше, я очень испугался её красоты, поскольку заметил чудесный нимб – широкий и слепящий золотой ореол, окружавший её искрящимися точками света, – света, который падал также и на меня и окутывал сверкающим великолепием. И, пока я глядел на неё в безмолвном удивлении, она придвигалась всё ближе и ближе; её бездонные, ясные глаза горели мягким взглядом, устремлённым на меня; её руки сплелись в объятии; её голова покоилась во всём её сиянии у меня на груди! Трепетный восторг взбудоражил меня, как огнём. Я смотрел на неё, как на порхающую, редкую экзотическую птичку. Я не смел двинуться или дышать. Я упивался её нежностью в своей душе! Время от времени звук, похожий на игравшую вдалеке арфу, нарушал любовную тишину, и так мы оставались вместе в райском саду безмолвного восторга; когда вдруг, словно получив невидимый призыв, она быстро поднялась, взгляд её выражал святое долготерпение, и, возложив обе руки на мою голову, она сказала: «Напиши! Напиши и провозгласи послание надежды печальной звезде! Напиши, и пусть твои слова станут истинным эхом вечной музыки, которой исполнены здешние сферы! Напиши ради ритмичной пульсации гармонии внутри тебя! Во имя чуда! И снова, как в прежние дни, моя неизменная любовь возродит внутри тебя силу совершенной песни!». На этом она невозмутимо отвернулась и поманила меня за собой. Я подчинился, поспешно и дрожа. Длинные лучи розоватого света простирались за нею, словно скользящие крылья,

и, когда она шла, золотой нимб вокруг её фигуры горел тысячью бриллиантов изменчивых оттенков, будто радуга в брызгах падающих вод! Сквозь буйную зелёную траву, насыщенную цветами; через рощи с тяжёлыми ароматными листьями и поющими птицами; по прохладным лугам под защитой гор, – мы шли вперёд; она – как богиня приближающейся весны, и я – нетерпеливо ступающий по её лучезарным пятам. И вскоре мы пришли на место пересечения двух дорог: одна – вся заросшая лазурными и белыми цветами, поднималась вверх, в незримую далёкую даль; другая спускалась глубоко вниз и была вся тенистая, но тускло освещалась бледным, мистическим сиянием, будто морозный лунный свет, струящийся над унылого цвета морем. Здесь она повернулась и встретилась со мною лицом к лицу, и я увидел её божественные глаза, исполнившиеся влагой невыплаканных слёз. «Теос! Теос!» – воскликнула она, и страстная интонация её голоса прозвучала столь же певуче, сколь и у соловья в одиноком лесу. «Опять, опять нам предстоит разлука! О мой возлюбленный! Как долго ещё твоя душа будет оторвана от моей, и я буду покинута в одинокой печали среди райских радостей?». Когда она говорила эти слова, чувство крайнего стыда, и утраты, и горя нахлынуло на меня, проникло в каждую клеточку моего существа посредством необъяснимого, но самого горького сожаления; я бросился к её ногам в глубоком унижении, я хватал её сверкающие одежды. Я пытался проговорить «прости!», но я был нем, как осуждённый предатель в присутствии обманутой королевы! Внезапно воздух вокруг нас задрожал от оглушительного грома, смешанного с торжественной музыкой; она поспешно выдернула своё блестящее платье из моих рук и, приблизившись ко мне, поцеловала в лоб. «Твой путь ведёт туда! – прошептала она быстро и мягко, указывая на дорогу, отмеченную перемежающимся светом и тенью. – Мой – вон туда! – и она поглядела на покрытую цветами улицу. – Поспеш! Пора тебе отправиться в дальний путь! Возвращайся на свою звезду, иначе вход закроется для тебя навсегда и ты окунёшься в вечный мрак! Отыщи поле Ардаф! Как жив Христос, я увижусь с тобой там! Прощай!». С этими словами она меня покинула, удалившись прочь, окутанная славой, ступая по цветам и всё восходя вверх, пока совсем не исчезла! В это время я, находясь в жестоком раскаянии, медленно побрёл вниз, в тень, и журчащая, подобная бризу мелодия, будто нежно исполняемая на лютнях и гуслях, следовала за мною вниз. А теперь, – сказал Олвин, прерывая свой рассказ и говоря решительным тоном, – мне, несомненно, остаётся сделать лишь одно: отыскать «поле Ардаф».

Гелиобаз серьёзно улыбнулся.

– Нет, если вы считаете всё происшедшее сном, – заметил он, – то к чему утруждать себя? Сны редко сбываются, а что по поводу названия «Ардаф»? Вы когда-нибудь слышали о нём?

– Никогда! – ответил Олвин. – И всё равно, если такое место существует на этой планете, то я определённо туда отправлюсь! Быть может, вам что-либо известно о его местонахождении?

– Закончите вашу историю, – сказал Гелиобаз, осторожно избегая ответа на вопрос. – Мне любопытно услышать окончание вашего удивительного приключения.

– Рассказать осталось немного, – и Олвин слегка вздохнул. – Я брёл всё дальше и дальше сквозь сумрак, одолеваемый множеством мыслей и терзаемый смутными страхами, пока наконец не стало так темно, что я едва мог видеть, куда шёл, хоть и продолжал следовать путём, простиравшимся предо мною в виде бледно светящихся лучей, которые многократно пронзали углубляющуюся темноту, и эти лучи, как я заметил тогда, всегда складывались в форму креста. На моём пути меня преследовал звук того нежного мотива, исполняемого на невидимых тонких струнах, и спустя немного времени я заметил в конце длинной, туманной дороги распахнутую дверь, через которую я и вошёл и оказался в одиночестве тихой комнаты. Там я присел отдохнуть; мелодия отдалённых арф и лютни мягким эхом отдавалась в тишине, и тогда пришли слова, перекрывая музыку, словно бутоны разрывают окружающие их листья, – слова, которые я обязан был записать без промедления; и я писал и писал, подчиняясь той симфоничной и ритмичной диктовке с чувством возрастающего облегчения и довольства, когда вдруг меня окутала плотная тьма, которая последовала за неспешным рассветом серого и золотого

цветов, слова распались на отрывочные фрагменты полуслогов, музыка замерла, и я вздрогнул от удивления, обнаружив, что нахожусь здесь! Здесь, в этом монастыре Ларса, слушая гимн «Ангелус»!

Он замолчал и задумчиво поглядел за окно, на белый опоясывающий венец снежной вершины горы напротив, который теперь купался во всём блеске полудня. Гелиобаз подошёл и добродушно положил руку ему на плечо.

– И не забывайте, – сказал он, – что вы принесли с собой из далёких краёв Поэму, которая вероятнее всего вас прославит! «Слава! Слава! Второе величайшее слово после „Бога“!» – так писал один из ваших коллег, и, несомненно, вы вторите его настроению! Не жаждали ли вы начертать своё имя в открытом свитке мира? Что ж! Теперь ваше желание исполнится – мир в ожидании вашей подписи!

– Всё это замечательно! – и Олвин улыбнулся, с некоторым сомнением глядя на рукопись на столе перед собой. – Но вопрос в том, – беря во внимание, как она была написана, – могу ли я, смею ли я назвать эту поэму своей?

– Несомненно можете! – отвечал Гелиобаз. – Хоть ваши колебания и весьма похвальны и встречаются столь же редко, сколь и похвальны. Всем поэтам и художникам полезно было бы на этом остановиться и призадуматься, прежде чем рваться объявить их произведения личной собственностью! Самохвальство – смертельный удар для гения. Поэма настолько же принадлежит вам, насколько и ваша жизнь – не больше и не меньше. Короче, вы возвратили своё былое вдохновение, ещё недавно молчаливый оракул снова говорит – а вы не рады?

– Нет! – быстро сказал Олвин с неожиданным блеском глаз, когда он встретил пронизательный, пытливый взгляд, сопровождавший этот вопрос. – Нет! Ибо я влюблён! И страсть любви горит во мне так же ярко, как и жажда славы! – Он замолчал и более тихим голосом продолжил: – Видите, я говорю с вами честно и откровенно, как будто, – и он усмехнулся, – как будто я добрый католик, а вы мой святой отец-исповедник! Бог мой! Если бы кто-то знававший меня в Лондоне слышал эти слова, он счёл бы меня совершенно свихнувшимся! Но, чокнутый или нет, я чувствую, что никогда не буду довольным, пока не узнаю, где на земле находится поле Ардаф. Вы можете помочь мне в поисках? Я почти стыжусь просить вас, поскольку вы для меня уже столько сделали и я уже ваш должник за то чудесное освобождение моей души, или как бы это ни называлось...

– Вы мне ничего не должны, – спокойно заметил Гелиобаз, – даже благодарности. Ваша собственная воля обеспечила вам высвобождение, а я не отвечаю ни за ваше отшествие, ни за возвращение. Это явление было предопределено, но всё же оно совершенно нормально и легко объяснимо. Ваша внутренняя сила обратилась вместе с моей в один мощный поток, в итоге ваша душа немедленно отделилась от тела, и в этом свободном состоянии вы испытали то, о чём мне и поведали. Но я не имею никакого отношения к этому приключению, как не стану иметь ничего общего и с вашим путешествием к «полю Ардаф», если вы решитесь туда отправиться.

– Так значит, есть Ардаф! – восторженно вскричал Олвин.

Гелиобаз поглядел на него немного насмешливо.

– Естественно! Неужели вы до сих пор столь скептически настроены, что полагаете, будто ангел заставила бы вас искать не существующее место? О да! Я вижу, вы склонны считать ваше воздушное приключение простым сном, но я-то знаю, что оно было реальным, более реальным, чем что-либо ещё в этом мире. – И, повернувшись к набитым полкам, он вытащил огромный том и разложил его на столе.

– Вам известна эта книга? – спросил он.

Олвин посмотрел:

– Библия! Ну конечно! – ответил он безразлично. – Она всем известна!

– Простите! – и Гелиобаз улыбнулся. – Вернее сказать, она никому не известна. Читать – не всегда значит понимать. В ней есть изречения и тайны, в которые ещё никто не проникал и которые лишь высочайшие и самые духовно одарённые умы дерзают когда-либо разгадать. А теперь, – и он осторожно переворачивал страницы, пока не дошёл до места, которое искал, – я думаю, здесь есть нечто интересное для вас – слушайте! – и он прочёл вслух: – «И пришёл ко мне Ангел Уриил, и сказал: А ты... ^Выйдешь на цветущее поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от полевых цветов и не вкушать мяса, ни пить вина, а только цветы, молись ко Всевышнему непрестанно, и Я приду и буду говорить с тобою. И пошёл я, как Он сказал мне, на поле, которое называется Ардаф...».

– То самое место! – вскричал Олвин, жадно склонившись над священной книгой, затем, отстранившись с разочарованным видом, он добавил: – Но вы читаете книгу Ездры – апокриф! Крайне сомнительный источник информации!

– Напротив, столь же надёжный, как и любой исторический факт, – спокойно возразил Гелиобаз. – Прочитайте внимательно и вы увидите, что пророк был жителем Вавилона, а упомянутое поле находилось рядом с городом.

– Да, в прошлом! – прервал его Олвин недоверчивым тоном.

– В прошлом и в настоящем, – продолжил Гелиобаз. – Ни землетрясение не разрушило его, ни море не затопило, и ни единый дом на нём не был построен. Оно такое же, как было тогда: огромное поле, лежащее милях в четырёх от руин Вавилона, и ничто не мешает вам отправиться туда, когда захотите.

Лицо Олвина, когда он слушал, выражало удивление и недоумение. Одна часть его так называемого сна уже подтвердилась: «поле Ардаф» реально существовало!

– Вы уверены во всём этом? – спросил он.

– Совершенно уверен!

Наступило молчание, во время которого маленький колокольчик зазвонил во внешнем коридоре, за чем последовали шаги обутых в сандалии ног по каменному полу. Гелиобаз захлопнул Библию и поставил обратно на полку.

– Это был призыв к обеду, – весело объявил он. – Вы составите мне компанию в трапезной, м-р Олвин? Мы можем продолжить нашу беседу позже. – Олвин очнулся от своих размышлений и, собрав листки его столь странным образом написанной поэмы, молча сложил их в аккуратную стопку. Затем он поднял глаза, выражавшие внутреннюю решимость, и встретил вопросительный взгляд Гелиобаза.

– Я отправляюсь в Вавилон завтра, – тихо сказал он. – Лучше ехать туда, чем никуда не ехать! И от результата этой поездки будет зависеть моё будущее! – Он поколебался, затем вдруг протянул руку в искреннем благодарственном жесте. – Несмотря на мою грубость прошлой ночью, я надеюсь, мы с вами друзья?

– Отчего нет, конечно же друзья! – отвечал Гелиобаз, сердечно пожимая предложенную ладонь. – Вы сомневались во мне и всё ещё сомневаетесь, но что с того! Я не обижаюсь на неверие. Мне слишком сильно жаль тех, кто страдает от разрушительного влияния, чтобы найти в своём сердце место для злобы. Кроме того, я никогда никого не переделываю. Намного более приятно, когда скептики неосознанно обращаются сами, подобно вам! Идёмте, нам пора присоединиться к братии.

По лицу Олвина промелькнула мгновенная тень сомнения и надменности.

– Я бы предпочёл, чтобы они вообще ничего не знали обо всём этом, – начал он.

– Не беспокойтесь на этот счёт, – прервал его Гелиобаз, – никто из моих здешних товарищей не знает о вашем недавнем путешествии, кроме моего близкого, очень давнего друга Иллариона, кто вместе со мной видел ваше тело в состоянии временной смерти. Но он – один из тех исключительно редких мудрецов, кто знает, когда лучше хранить молчание; опять-таки, он ничего не знает о результатах переселения вашей души, и так и останется, по моему убеж-

дению, в этом неведении. Со мною ваша конфиденциальность в совершенной безопасности, уверяю вас, и столь же нерушима, как и тайна исповеди.

Уверившись в этом, Олвин будто оживился и повеселел, и на этом они вместе вышли из комнаты.

Глава 6. «Нурельма» и оригинальная книга Ездры

Позже, в полдень того же дня, когда солнце, балансируя над западным горным хребтом, как бы лениво поглядывало на него с золотистой сонливо-прощальной улыбкой, прежде чем отойти ко сну, Олвин снова сидел в одиночестве в библиотеке. Сумеречные тени уже собирались в углах длинной, узкой комнаты, но он передвинул письменный стол к окну, чтобы полюбоваться великолепием окружающего пейзажа, и сидел там, где свет падал прямо на его лицо, пока он откинулся на спинку кресла, закинув руки за голову с видом довольного, полузадумчивого безделья. Он только что от начала и до конца перечитал поэму, сложенную в транс, и не обнаружил в ней ни одной строки, которую хотел бы изменить, ни единого слова, которое могло бы быть лучше употреблено; недоставало лишь названия, и как раз над ним он и раздумывал. Тема этой поэмы сама по себе была для него не нова: это была история, известная ему с детства, древняя восточная легенда о любви, фантастически прекрасная, как и большинство подобных легенд, исполненная изящества и страстей, – тема, достойная соловьиной трели певца, подобного персидскому Хафизу; хотя даже сам Хафиз с трудом передал бы исключительный язык и изысканность звучания рифм, на которые эта необычайная идиллия давно прошедших веков теперь была в совершенстве переложена, словно драгоценный камень – в золотую оправу. Олвин сам полностью осознавал великолепие литературной ценности композиции, он знал, что ничего более высокохудожественного по замыслу или более завершённого по структуре не появлялось со времён «Кануна Святой Агнессы» Китса; и когда он думал об этом, то поддавался растущему чувству самодовольства, которое постепенно разрушало всё глубокое набожное смирение, которое вначале им овладело по отношению к возвышенности и таинственности происхождения его вдохновения. Древняя наследственная гордость его характера вновь заявила о себе; он пересмотрел все обстоятельства своего «транса» с самой практической стороны, припомнив, как поэт Кольридж создал изящный отрывок «Кубла Хана» во сне, и перестал замечать что-либо удивительное в собственном неосознанном творении полной поэмы, пока находился под действием гипноза или магнетизма.

«В конце концов, – размышлял он, – это дело гораздо проще, чем можно себе вообразить. Я долгое время был не способен написать ничего стоящего и сообщил об этом Гелиобазу. Он, зная апатичное состояние моего разума, соответственным образом применил свою силу, хоть и отрицает это, так что очевидно, что эта поэма стала результатом моих долгое время сдерживаемых идей, которые стремились вырваться, но не могли найти выражения в словах. Единственная загадка всего этого дела – это поле Ардаф, и как же это название меня преследует! И как её лицо сияет пред внутренним оком моей памяти! Чтобы она оказалась призраком моего собственного изобретения, представляется невероятным, ибо когда это я, даже в самых диких своих фантазиях, воображал кого-то, столь прекрасного!»

Его мечтательный взгляд остановился на снежных вершинах напротив, над которыми огромные пушистые облака, сами как движущиеся горы, неспешно проплывали, а их края горели пурпуром и золотом, когда приближались к заходящему солнцу. Вскоре он поднялся, взял перо и первым делом написал адрес на конверте:

«Благородному Фрэнсису Виллерсу, Конституционный клуб, Лондон».

А затем быстро набросал следующий текст:

«Монастырь Ларса, Дарьяльское ущелье, Кавказ».

«Мой дорогой Виллерс, не пугайтесь вышеуказанного адреса! Я ещё не дал обета вечного затворничества, молчания или целибата! То, что именно я из всех людей мира оказался в монастыре, покажется вам, кому известны мои взгляды, в высшей степени абсурдным, тем не менее я здесь, хоть здесь и не останусь, поскольку уже точно решил завтра на рассвете выехать отсюда тем путём, что ведёт напрямиком к предполагаемому месту нахождения разва-

лин Вавилона. Да, Вавилона! А почему нет? Погибшее величие всегда представляло для меня больший интерес для наблюдения, чем существующее ничтожество, и я даже скажу, что побродил бы среди курганов мёртвого города с большим удовольствием, чем по жарким, запруженным людьми улицам Лондона, Парижа или Вены, обречённым обратиться в курганы в своё время. К тому же меня ждёт приключение: поиск нового ощущения, тогда как все старые я уже испробовал и нахожу их пустыми. Вам известен мой кочевой неусидчивый нрав, быть может, во мне есть что-то от греческих цыган – тяга к постоянным переменам мест и окружения, однако, раз моё отсутствие в Англии, вероятно, будет долгим, я высылаю вам поэму. Нет-нет, придержите пока своё восхищение и терпеливо выслушайте меня. Я прекрасно знаю, что бы вы сказали по поводу крайней глупости и бесполезности написания стихов вообще в нашем нынешнем веке водянистой литературы, копеечных сенсаций и популярных распутных драм, и я также прекрасно помню, каким образом обошлась эта самая пресса с моей последней книгой. Батюшки! Как критики, словно собаки, визжали у моих пят, щёлкая зубами, принюхиваясь и скалясь! Тогда я готов был рыдать, будто чувствительный дурак, каковым я и был. Теперь я смеюсь! Короче, друг мой, – ибо вы и есть мой друг и лучший из всех ребят, – я принял решение возобладать над теми, кто восставал против меня, прорвать ряды педантичных и предвзятых суждений и штурмовать вершину славы, не оглядываясь на мелких популярных трубачей-перевёртышей, которые стоят у меня на пути и надрывают глотки, крича в уши публике, чтобы заглушить, если удастся, мою песнь. И я буду услышан! И в этом я возлагаю свою веру на работу, которую поручаю вашему попечительству. Опубликуйте её немедленно и в самом лучшем виде – и я покрою все издержки. Объявите о ней во всеуслышание, но с приличествующей скромностью, поскольку шумную рекламу я всей душой презираю; и даже если вся пресса повернётся и станет аплодировать мне так же, как прежде оскорбляла и высмеивала, то я не приму ни единой из их дешёвых строк снисходительно-невежественного одобрения, применительно к тому, что должно быть совершенно ненавязчивым и простым обнаружением этого нового произведения моего пера. Рукопись исключительно разборчивая даже для меня, мужчины, не пишущего каракулями, так что вам едва ли придётся утруждать себя коррективкой, хотя, даже в этом случае и если печатники окажутся неисправимыми тупицами и невежами, я знаю, что вы не пожалеете ни сил, ни времени на это дело. Дорогой Фрэнк Виллерс, скольким я уже вам обязан, но всё же охотно принимаю на себя ещё один долг в этом деле, и мне приятно быть должником вашей дружбы, но поверьте, что только на условиях возврата с хорошими процентами! Кстати, вы помните, как на последней парижской выставке нас очаровала одна картина – голова монаха с поистине просветлённым взглядом из-под складок опущенного белого капюшона? И в каталогах она числилась как портрет некоего «Гелиобаз», восточного мистика, в прошлом известного в Париже экстрасенса, ушедшего в монахи? Так вот, я отыскал его здесь; он определённо наставник или глава этого ордена, хотя, что это за орден и когда он появился, я сказать не могу. Здесь всего пятнадцать монахов живут, довольные этой древней полуразрушенной обителью посреди бесплодных круч морозного Кавказа; все они прекрасные, словно принцы, ребята, а сам Гелиобаз – исключительный образчик своей расы. Я только что отобедал со всей общиной и был искренне поражён раскованностью и остроумием их беседы. Они говорят на всех языках, включая и английский, и ни одна тема им не чужда, ибо они осведомлены о последних политических событиях во всех странах; им всё известно о новейших научных открытиях (над которыми они, кстати, вежливо посмеиваются, словно это детские игрушки); и они обсуждают наши современные общественные проблемы и теории с сократовской пронизательностью и хладнокровием, которым нашим парламентским ревунам не мешало бы поучиться. Их кредо..., однако я не стану утомлять вас теологическими дискуссиями, достаточно будет сказать, что в его основе лежит Христианство и что в настоящее время я не очень понимаю, как к нему относиться! На этом, мой дорогой Виллерс, я прощаюсь! Отвечать на это письмо нет надобности; кроме того, я не могу дать вам адреса, поскольку

не знаю, где окажусь в ближайшие два-три месяца. Если мне не доставит ожидаемого удовольствия созерцание руин Вавилона, то я, вероятно, проживу в Багдаде недолго и попытаюсь углубиться во времена доброго Гарун-аль-Рашида. В любом случае, что бы ни случилось со мной, я знаю, что отдаю поэму в надёжные руки, и всё, о чём я прошу, это выпустить её в свет без промедления, ведь её *немедленная публикация*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.